
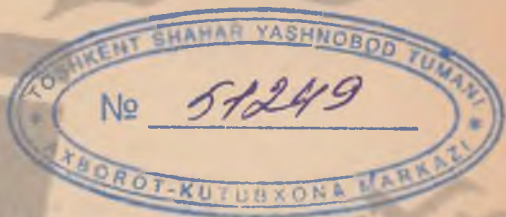


ТРУПС ЭРА



**РОМАН
О ХЕЛЬГЕ
ХАУГЕ**

ТРУЛЬС ЭРА



РОМАН О ХЕЛЬГЕ ХАУГЕ

РОМАН
Перевод
с норвежского



МОСКВА "РАДУГА" 1985

ББК 84.4Нр
743

Перевод *Г. Доброничевой*
Предисловие *Э. Панкратовой*
Редактор *С. Голубовицкая*

743 Эра Трульс
Роман о Хельге Хауге: Роман. /Пер. с норв. Т. Доброничевой. Предисл. Э. Панкратовой. — М.: Радуга, 1985. — 288 с. — (Зарубежный роман о рабочем классе).

Трульс Эра, сам выходец из рабочей среды, с большой любовью повествует о своем герое, рабочем Хельге Хауге, человеке сложной и трагической судьбы. Автор обнажает механизм капиталистической эксплуатации, показывает бесчеловечную сущность современного буржуазного общества.

Э 4703000000-202 56-85
030(01)-85

ББК 84.4Нр
И(Норв)

© Gyldendal Norsk Forlag A/S 1979

© Предисловие и перевод на русский язык издательство "Радуга", 1985

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рабочий роман в Норвегии имеет свою давнюю и славную историю. Впервые тема рабочего зазвучала в творчестве революционного романтика Х. Вергеланна. Нашла она отражение в произведениях классиков Ибсена и Бьёрнсона. Такие выдающиеся писатели второй половины XIX века, как А. Хьелланн, Ю. Ли, А. Гарборг, дали яркие, реалистические картины жизни простых людей, представителей трудового класса, "униженных и оскорбленных". Но подлинная родословная рабочего романа начинается с романа Пера Сивле "Стачка" (1891). Задуманный первоначально как традиционная история буржуазной семьи, роман обернулся чрезвычайно острой книгой о рабочих. Впервые в нем непосредственным предметом изображения стала жизнь пролетариев и их борьба за свои права, при этом авторский взгляд на мир был созвучен взгляду его героев — трудящихся.

В дальнейшем почти каждое десятилетие приносит все новые имена и новые романы на рабочую тему. Двадцатые и тридцатые годы дали целую плеяду пролетарских писателей. В это время Норвегия полюбила творчество Горького. По мнению известного исследователя русско-норвежских литературных связей Мартина Нага, влияние Горького на норвежскую культурную жизнь было огромно, его книги были "популярны в Норвегии

более, чем в какой-либо другой стране”¹. Он был ”идеалом” и ”кумиром” таких писателей, как О. Бротен и К. Упдал (роман О. Бротена ”Волчье логово” был издан у нас и с интересом воспринят читателями). По свидетельству выдающегося романиста Юхана Фалкбергета, Горький сыграл решающую роль и в его писательской судьбе. В сороковые годы вышла в свет тетралогия Фалкбергета ”Ночной хлеб”, в которой он создал образ возницы руды Анн-Магрит, ставшей воплощением лучших национальных черт норвежского народа, вдохновляющим символом для норвежцев в трудные годы войны и оккупации.

В пятидесятые годы была написана широко известная у нас трилогия И. Свинсоса ”В тени копра”, ”Пять лет”, ”Отгремели бои”, где рассказывается о судьбе рабочего парня Улофа в годы войны и первые послевоенные годы.

Несомненным событием в литературной жизни Норвегии явился роман Бьёрна Ронгена ”Большая ма” (1960). Главное действующее лицо в нем — женщина-учительница Мария, порвавшая со своей мелкобуржуазной средой и связавшая свою судьбу с рабочим Нильсом, ставшая его активной, сознательной помощницей в труде и в борьбе за социальные преобразования. На проводившемся в 1962 году конкурсе на лучший роман из жизни рабочих роману Бьёрна Ронгена была присуждена вторая премия. Первую премию получил роман Коре Холта ”Мятежники у моря” — произведение, написанное своеобразным риторическим стилем, отличающееся тонким, порой изощренным психологизмом. В книге показан рост самосознания

¹ M. Nag. Gorkij i Norge, Oslo, 1983, s. 5.

героев, рабочих каменоломни на берегу моря. Островок, где они живут, становится символом борьбы всей трудовой Норвегии, олицетворением непокоренного человеческого духа.

В целом шестидесятые годы — время, когда рабочая тема становится все более актуальной в Норвегии. На передний план многих художественных произведений выходит конфликт между рабочими и предпринимателями или описание судьбы человека рабочей профессии. Характерно, что к изображению такого социального конфликта обратились очень разнородные по стилю и по своим эстетическим устремлениям писатели. Особую роль при этом сыграла документальная литература. В тексте художественных произведений широко используются различные конкретные документы, вырезки из газет, циркуляров. Условно такой роман можно назвать романом коллажного типа. Характерным примером этого явления может служить книга Тура Убрестада "Сёуда! Забастовка!". Горячая и безоговорочная приверженность факту, документу характерна и для Дага Сулстада, чей роман "Площадь 25 сентября" был назван критикой центральным произведением семидесятых годов. В нем рассказывается о жизни нескольких поколений рабочей семьи. Кульминационным событием в романе является движение протеста против присоединения Норвегии к Общему рынку, как известно увенчавшееся успехом.

С конца семидесятых годов особое развитие получил "ретроспективный" рабочий роман, действие в котором относится к 20—30-м годам, когда рабочее движение переживало подъем, а в сфере общественно-политической и культурной

задавал тон журнал "Мут даг" ("Навстречу дню"), вокруг которого объединились передовые представители норвежской интеллигенции, боровавшиеся за коренные социальные преобразования. В этой связи следует назвать романы Эрлинга Педерсена "Твое место на земле", Кирсти Блом "Только любовь не спит". Наряду с ними появились книги и о сегодняшней жизни рабочего: "Монополии и иллюзии" Рольфа Эгиля Му, "Ени выгнали с работы" Туриль Брекке и ряд других.

Книга Трульса Эры — одна из последних и, несомненно, лучших книг подобного рода. Трульс Эра — имя совершенно новое на литературном горизонте Норвегии. Ее автор — дебютант, родился в 1951 году, человек из рабочей среды. В своем еще пока достаточно молодом возрасте он уже успел многое повидать: работал на различных промышленных предприятиях, жил за границей. "Роман о Хельге Хауге" принес Эре большую популярность и позволил занять в короткий срок прочное положение в литературной среде. В основу книги во многом лег собственный жизненный опыт автора, его наблюдения, встречи с разными людьми.

Ее герой — человек пожилой, фактически проживший свою жизнь: ему 64 года. "Шестидесяти-четырёхлетний комок нервов" — так характеризует автор своего героя. Хельге Хауге, казалось бы, пора подумать о спокойном отдыхе, но до пенсии еще нужно дожить, ведь уйти на пенсию в Норвегии можно только в 67 лет, причем закон об уходе на пенсию в этом возрасте был проведен Норвежской рабочей партией сравнительно недавно, только в январе 1973 года (до этого

пенсионным возрастом было 70 лет) ¹.

”Я хотел показать, насколько фальшив блестящий фасад ”общества всеобщего благоденствия” для многих простых тружеников. Единственная надежда для них — дотянуть до пенсии и хорошо прожить несколько лет перед смертью”², — говорил Трульс Эра о творческом замысле романа. Писатель смотрит на героя глазами своего поколения, пытается через судьбу Хельге понять и осмыслить судьбу современного норвежского рабочего, понять, что ждет в будущем сегодняшних молодых рабочих парней. В романе практически нет дистанции между автором и героем. 28-летний Трульс Эра почти полностью отождествляет себя с 64-летним Хельге Хауге, и именно это, по мнению критики, делает книгу столь психологически достоверной. Трульс Эра дает возможность читателю как бы непосредственно соприкоснуться с внутренним миром своего героя.

Перед мысленным взором Хельге Хауге проходит вся его жизнь, полная скитаний. Многого довелось ему увидеть, испытать и пережить. Он был моряком, докером, шлифовальщиком, пескоструйщиком, подметальщиком, маляром-пульверизаторщиком и, наконец, бригадиром маляров на судоверфи. Ему приходилось подолгу жить вдали от семьи в грязных бараках и захудалых гостиницах. Хельге Хауге подводит итоги своей жизни. Горькие вопросы задает он себе:

На кого он гнул спину?

¹ Коммунистическая партия Норвегии борется за снижение пенсионного возраста до 65 лет, а для рабочих, занятых на вредных работах, и для женщин — до 60 лет.

² Vinduet, 1982, № 4, s. 10.

За что он так упорно сражался?

Где она, накопленная с годами мудрость?

Хельге Хауге ощущает себя развалиной, "выжатым, как лимон, годным лишь на помойку". Работа на судовой верфи исключительно вредна для здоровья. У Хельге Хауге профессиональное заболевание, каким страдают и все его товарищи: синтетический разбавитель, применяемый при окраске судов, отравляет организм. Врач, работающий на верфи, действует целиком и полностью в интересах судовладельцев и дирекции. Вместо обнародования диагноза (ведь налицо профессиональное заболевание) и радикального лечения, он дает рабочим болеутоляющие средства, внушая, что болезнь неопасна.

Лицемерие судовладельцев и дирекции не знает границ. Когда возникает вопрос о свертывании производства, директор судовой верфи заранее ставит в известность бригадира Хельге Хауге, хотя тот прекрасно понимает, что его мнение на этот счет ничего не значит. Просто сильные мира сего вовсю играют в демократию. Жизнь идет, и капиталисты вынуждены становиться более гибкими и изощренными в своей тактике. Бригадир маляров пытается осмыслить все новые и новые хитроумные способы подкупа рабочих, в частности новый вид взятки, как называет его Хельге, — недельный "семинар" на Канарских островах, после которого "никакого тебе сопротивления интенсификации производства и прочей дряни, которая обрушивается как снег на голову". В последние годы в Норвегии профсоюзы разрабатывали изменения структуры организации предприятий, чтобы добиться участия рабочих в управлении ими (в 1961 году был создан даже специ-

альный комитет для решения этого вопроса). Но те "производственные советы", которые были созданы в конечном итоге, никак не помогают трудящимся оказывать влияние на руководство предприятиями, так как остаются совещательными органами.

Хельге Хауге трудился без устали почти полвека, и какой же итог этого? Материального благополучия он, казалось бы, достиг. "В холодильнике полно, в бумажнике тоже хватает, счета в банке растут. Зато радости в жизни стало меньше", — размышляет Хельге Хауге. Остались только грезы о детстве.

Как известно, жизненный уровень в Норвегии достаточно высок. Таково мнение социологов. "Вследствие социальных реформ, проведенных буржуазией и реформистскими социал-демократическими партиями, жизненный уровень трудящихся Скандинавских стран в настоящее время остается одним из самых высоких в капиталистическом мире"¹.

"Конечно, известную свободу дают деньги, однако можно ли за деньги купить потерянные годы, утраченную любовь и несбывшиеся мечты?" — вопрошает Хельге Хауге. За фальшивым фасадом "общества потребления" все та же пропасть, которая разделяет богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, людей, которые живут как бы в разных, почти не соприкасающихся мирах. По прошествии лет Хельге открыл для себя, что единственная доступная человеку свобода — это "черпать

¹ К. Зурабян. Рабочий класс и профсоюзы Скандинавских стран в условиях научно-технической революции. М., 1979, с. 7.

радость и вдохновение из борьбы за идею, за преобразование общества под знаменем этой идеи. Интуиция и пережитые страдания привели его к социализму”.

Труд при капитализме в своей основе лишен созидательного начала. Работа ради куска хлеба, ради определенного жизненного стандарта, с тем, чтобы хватило на черный день. При этом рабочий часто рискует своей жизнью или здоровьем. Несчастные случаи, которые вспоминает герой романа, размышляя о своей работе на фабрике рыбьего жира, на китобойном промысле или на верфи, не являются исключением, они характерны не только для жизненного опыта Хельге Хауге. Образ Хельге Хауге глубоко обобщенный, в нем сконцентрирован опыт норвежского рабочего класса почти за столетия. ”Его препохабие капитал” по-прежнему правит на Западе. И несмотря на проповедуемый миф о ”народном капитализме”, сущность изнурительного подневольного труда все та же. ”Он видит перед собой отверстую пасть с грозными чугунными зубами. В нее нескончаемым потоком вливаются люди. Привычная и такая тягостная для Хельге Хауге картина. Новая порция людей на потребу машинам. Чтоб выпускалось больше продукции. Чтоб росла покупательная способность. Чтоб человек надрывался все больше” — с таким вполне сродни горьковскому описанием начала рабочего дня встречаемся мы в первой главе романа Трульса Эры.

Сущность капитализма как общественного строя остается неизменной. По-прежнему сжигают кофе, сливают молоко в реки, в Италии гноят помидоры — об этом говорит Одд Хауген, товарищ по бригаде и друг Хельге, чей образ играет важ-

ную роль в романе. Одд Хауген глубоко убежден, что все крупные купюры нажиты с помощью злодеяний. В своей книге Эра дает анатомию капиталистического общества и его экономики. Общий рынок, по мнению Одда Хаугена, — это общий мировой капитал. "А под капиталом я имею в виду прежде всего те кроны, которые горстка богатеев получает от миллионов простых людей", — делает вывод Одд Хауген, которому классового сознания не занимать.

По своим жанровым особенностям книга Трульса Эры близка документальной, "коллажной" прозе, в частности упоминавшемуся роману "Сёуда! Забастовка!" Тура Убрестада, роману "Цинк" Эспена Ховардсхолма. Одд Хауген был членом комитета помощи реальным забастовщикам Сёр-фьорда. Таким образом, сама действительность становится непосредственным фактом литературы, фактом, несущим в себе большой социальный заряд. Чего стоит хотя бы приводимый в книге свод правил, вывешенный администрацией фабрики рыбьего жира, условия работы на которой, по мнению работавшего там Хельге Хауге, максимально приближались к условиям ада, "по крайней мере каким его представляет себе весь христианский мир":

1. На территории фабрики запрещается всякого рода политическая деятельность.

.....

4. Рабочие обязаны оставаться патриотами своего предприятия также и за его пределами.

5. Предприятие не несет ответственности за здоровье и благополучие рабочих за его пределами.

При этом роман Трульса Эры выгодно отли-

чается от других романов коллажного типа недвусмысленностью авторской позиции, умением осмыслить приводимые документы, события, факты, жизненные истории, анекдоты, притчи, разного рода клише, лозунги, девизы, составляющие во многом ткань романа. "Роман о Хельге Хауге" — острая социальная, социологическая книга. Он буквально перенасыщен политическим содержанием, относящимся как к недалекому прошлому, так и к нашим дням. Можно с уверенностью сказать, что в романе нашли отражение почти все значительные события нашего времени, актуальные для Норвегии, и не только для нее, а главное — они получили в целом правильную оценку, хотя некоторые мысли автора, продиктованные его молодым полемическим задором, наш читатель вряд ли сможет принять полностью.

Заслугой автора является его внимание к проблеме иностранных рабочих как наиболее бесправных и угнетенных¹. Перед Трульсом Эрой судьба конкретного человека Хельге Хауге, но она для него неотделима от судьбы норвежского рабочего класса в целом, рабочего люда всей земли. Вот почему так запоминаются образы ни за что погибших "ребят-пакистанцев", о которых с такой теплотой думает Хельге Хауге.

Хельге Хауге живет напряженной интеллектуальной жизнью. Он постоянно размышляет о жизни, судьбе своей и своих товарищей. Люди

¹ Центральное объединение профсоюзов в 1973 г. в принятой программе заявило: "Мы выступаем против того, чтобы иностранные рабочие превратились в новый низший класс как в социальном, так и в экономическом отношении. — Handlingsprogram. LO i Norge, Oslo, 1973, s. 31.

труда, братья по классу, "невольники жизни", предстают как личности духовно богатые, в которых ни пережитые унижения, ни убожество окружающей обстановки не могут убить стремления к возвышенному, мечты о светлом и прекрасном. "Мне не приходилось встречать моряков или пожилых договорников, в которых не ощущалось бы некоей поэтической грусти, потерянности или беспредельной тоски. Нет среди них и таких, кто бы не знал стихов Якоба Санде, Вильденвея, Булля, Эверланна и Ибсена"¹.

"Смелая", "дерзкая" книга о Хельге Хауге вызвала целый поток откликов в прессе. Правая печать сразу же обвинила автора в необъективности рисуемых им картин норвежской действительности, недостатке художественного вкуса. Слишком много-де говорится об условиях труда рабочих. Разоблачительный пафос книги буржуазные рецензенты назвали "социальной порнографией". (А ведь к порнографии в обычном смысле они весьма терпимы.) В то же время широкие читательские круги и прогрессивная критика дали книге высокую оценку. "Книга дебютанта Трульса Эры — симфония о порабощенном человеке,

¹ Якоб Санде (1906—1967) — лирический поэт, творчество которого отличают радикалистские, социально-критические тенденции.

Арнульф Эверланн (1889—1968) — известный норвежский поэт, принимал активное участие в движении Сопротивления, написал ряд широкоизвестных антифашистских стихов.

Герман Вильденвей (1886—1959) — лирический поэт, его позиции присуще глубокое философское содержание.

Улаф Буль (1883—1933) — лирик, чью поэзию отличает высокий интеллектуальный уровень.

эта тема варьируется, модифицируется, выворачивается наизнанку, рассматривается с различных сторон и точек зрения... На каждой странице книги ощущается горячая любовь автора к рабочему классу...”¹, — писал журнал ”Профиль”. ”Это воинствующая книга. Воинствующая по отношению к капитализму, с его основным жизненным стимулом—жаждой наживы” — таково мнение рецензента журнала ”Виндуэт”².

Трульс Эра не оставляет камня на камне от мифа об обществе ”всеобщего благоденствия”. ”Роман о Хельге Хауге” — это тщательно аргументированное обвинение в адрес норвежской буржуазной демократии.

Надеемся, читателей заинтересует книга молодого автора, написанная на актуальнейшую из тем — тему судьбы рабочего в капиталистическом мире.

Элеонора Панкратова

¹ Profil, 1980, № 2, s. 70.

² Vinduet, 1979, № 3—4, s. 117.

1

Без десяти семь утра.

Сверху неширокие, забитые машинами подъезды к городу напоминают муравьиные дороги. Тот же сумбур организованного движения, организованной жизни.

Это подтягивается на работу дневная смена. А в сырых, пропахших потом раздевалках уже сидят ребята из ночной. Сидят и курят в ожидании, когда высунется из проходной вахтер и, нажав кнопку, выпустит их с верфи.

Слава богу, хоть не прикрыли еще шарашку!

По нынешним временам большое достижение.

На многих предприятиях не слышно больше табельных часов, отмечающих время прихода на работу, а ведь, что ни говори, мир держится лишь на парнях, которые пять, шесть, а то и семь раз в неделю отбивают на таких часах время прихода и ухода. Это они производят ДЕНЬГИ.

Деньги же, как известно, — это все.

Без денег жизнь застопорится.

Потому что

Money makes the world go round,
the world go round,
the world go round¹.

И что можно купить без денег?

ARBEIT MACHT FREI! ²

Среди тех, кто направляется на работу, и Хельге Хауге.

За чисто внешними атрибутами — шляпа, шарф, пальто, зонт, портфель, брюки со стрелкой, ботинки — скрывается человек грустный, надломленный и в немалой степени ожесточившийся.

Хельге Хауге безумно устал, он дошел до ручки от тяжелой, изнурительной работы, вымотался настолько, что временами даже улыбка дается ценой невероятных усилий. Сейчас вся его жизнь сосредоточена в крохотной таблетке валиума, тающей в желудке. Шестидесятичетырехлетний комок нервов, он снова идет на работу, снова идет творить историю. Всю жизнь, изо дня в день, одна и та же волынка.

А где же твои грезы о прекрасном, Хельге Хауге? Куда девались они в это холодное осеннее утро? Куда ты запрятал чудесные, греющие душу воспоминания о волнах, лесах, ветрах, реках и птицах, о людях в небольших хижинах, о долгих летних вечерах?

Их что, больше нет?

¹ Деньги вертят всем на свете,
всем на свете,

всем на свете (англ.) — припев популярной песни из американского кинофильма "Кабаре" (1972). — Здесь и далее примечания переводчика.

² "Труд освобождает человека" (нем.) — надпись на воротах Освенцима.

180611

TOBINKENT SHAHAR YASHNOBOD TUMANI
№ 51249
AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI

TAJIKISTON JUMHURIYATI
F

Handwritten signature

Хельге Хауге: кожа, кости, мускулы и три склянки с таблетками. Преданный всеми. Обманутый мечтами, временем, жизнью и надеждой. Совершенно беззащитный. Сколько еще сумеет он тянуть свою лямку?

Когда весной этого года директор Клеппе изложил проект сокращения расходов, Хельге Хауге не поверил собственным ушам. Все последнее время они только и делали, что расширялись, и вдруг на тебе, говорят о сокращениях. Поскольку теперь принято играть в демократию, поинтересовались и его мнением, попросили высказать свои соображения. Он сказал:

— Да что же это такое творится? Мы всего два года как устроили женские раздевалки, и, кстати, девушки очень даже скрасили нашу жизнь. Негоже их теперь ни за что ни про что выставлять за ворота!

Но есть одна загвоздка: Хельге Хауге нет-нет да и получит ящик виски, отослать который назад у него не хватает духу. Он ведь любит пропустить пару рюмок, прежде чем отправиться на боковую, особенно теперь, когда у него бессонница. Целая, черт возьми, проблема стала со сном! По пять часов он мучается, пока удастся на столько же заснуть. Одному богу известно, как Хельге Хауге умудряется совсем с копыт не свалиться.

А эти подачки обламывают рога самым что ни на есть горластым профсоюзным деятелям на верфи. Неподкупные? Видали мы таких неподкупных! Теперь хозяева придумали отправлять их на Канарские острова. Недельный "семинар" на Канарских островах — и никакого тебе сопротивления интенсификации производства и прочей дря-

ни, которая обрушивается как снег на голову.

Из выступления Хельге Хауге на профсоюзном собрании:

— Раньше мы грудью стояли за свои рабочие места и в конечном счете добились в этом отношении кое-какого порядка. наших ребят нельзя было запросто вышибить с работы, потому что мы тут же за них вступались. А теперь мы сидим сложа руки и смотрим, как начальство облапошивает нас с помощью новых слов. То, что раньше называлось "вышибить с работы", теперь проходит под видом "повышения эффективности".

Но ведь и дураку ясно, что это их повышение эффективности отразится прежде всего на нашем брате, рабочем. А изображают, будто все делается для нашей же пользы, чтобы, мол, не закрывать предприятие. Но это обман чистой воды. Нам только мозги запудривают этой интенсификацией, модернизацией и прочим. На самом деле все мероприятия направлены на увеличение прибыли, а отнюдь не на заботу о нас. Более того, нам хотят внушить страх за собственную шкуру и с помощью ухищрений добиться раскола в наших рядах, товарищи. Интенсификация выгодна прежде всего капиталистам, которые, пользуясь правом частной собственности, совместно с властью имущими задумали погубить нас!

— Мне смотреть тошно, как ты перемогаешься, Хельге! — не выдержала однажды Гюлле. — Ты уж и есть перестал, и спать не спишь, ходишь как в воду опущенный. Если на тебя бригадирство так действует, бросай ты его, Хельге, а то совсем угробишься на этой работе. И к врачу пора сходить, на тебе же лица нет! Болен ты, понимаешь?

— У меня такое ощущение, — признался Хельге Хауге, — будто я в камнедробилку попал. Меня дробят, крошат, давят, выжимают кровь до капельки. Но что прикажешь делать, Гюлле? Мне мое бригадирство досталось тяжким трудом, а я уже не мальчик, чтобы начинать все сначала.

Больше они к этой теме не возвращались.

— Нет, Хауге, у тебя не рак желудка! — сказал заводской врач. — Это невроз, нервные спазмы в области солнечного сплетения. Я сколько раз говорил: тебе необходимы моцион и свежий воздух. Постарайся поменьше волноваться, Хауге, и почаще ездить на велосипеде.

— Да как же тут, скажите на милость, не волноваться, если на этой чертовой верфи того гляди на воздух взлетишь! — заорал Хельге Хауге, вне себя от того, что вечно напарывается на таких советчиков. — Не далее как два дня назад вылез маляр на палубу ни жив ни мертв: он красит, а по другую сторону переборки начали резать автогеном.

Впрочем, Хельге Хауге прекрасно понимал, что напрасно тратит порох. Врачи знают только свои лекарства, их хлебом не корми — дай прописать курс лечения. Они не склонны вникать в то, что происходит за пределами их ограниченного мирка. С самодовольной улыбочкой выписывая рецепты, они подлатывают людей и считают, что в целом неплохо справляются со своими обязанностями.

Для маляров-пульверизаторщиков нет ничего страшнее огня, а тот парень, о котором рассказывал Хельге Хауге, красил на днище бортового танка и вдруг, к своему ужасу, увидел черное пятно, расплывающееся по тому месту, где он

только что прошелся краскопультом. Побросав все, парень как ошалелый кинулся на палубу. Однако выбраться с самого дна цистерны нелегко: пока доберешься до трапа, нужно преодолеть пятнадцать узких лазов. Пришлось маляру, чтобы не волочь за собой тяжелые шланги, отключить подачу воздуха. А дышать в танке практически нечем, там одни пары краски и растворителя, которые обжигают горло и легкие почище кипящего масла. Вот он и выбрался на палубу в полузадохшемся состоянии, а потом его страшно рвало, просто наизнанку выворачивало.

Как выяснилось, очередная неувязка. В соседнем отсеке начали резать автогеном, и если цистерна не взорвалась, то лишь по той простой причине, что воздух был перенасыщен парами растворителя. Там не было кислорода. Или по крайней мере его было недостаточно для возникновения пожара. И слава тебе господи, иначе танкер разнесло бы в щепки.

Вот такие пироги!

За последний год у них на верфи произошло несколько жутких историй. Сначала с двумя незадачливыми пакистанцами, работавшими на подрядную фирму. Им поручили газовую резку в центральном танке, хотя до этого они резака и в руках не держали. Освоили они его в два счета, однако никто и оглянуться не успел, как стряслась беда.

Ребят, значит, поставили работать в центральном танке — отрезать скобы, остававшиеся после демонтажа лесов.

Подошло время обеда. И пакистанцы, ребята аккуратные, решили, прежде чем подниматься в столовую, смахнуть с себя пыль кислородом из резака.

Один из них закурил, и — пых! — в десятую долю секунды оба поджарились наподобие хрустящих хлебцев. Только к вечеру их обнаружил бригадир, который заглянул проверить, как идут дела, и наткнулся на двух скорчившихся под трапом, усохших и почерневших человечков.

А потом была эта ужасная история с Лейфом Квалем из бригады Хельге Хауге. Парень больше года страдал свинцовым отравлением, причем в тяжелой форме, а сам, не понимая, что с ним творится, никому не заикался про свое состояние.

У него оказалось не только свинцовое отравление. При обследовании в городской больнице выяснилось, что у него, как говорится, "сгорели" почки. Он часто жаловался заводскому врачу на головную боль, но тот лишь пичкал его таблетками, точно леденцами. В результате парень совсем занемог, и его спешно положили в больницу.

У Хельге Хауге остались невыносимо горькие воспоминания об этом времени. До гробовой доски не забыть ему лицо Лейфа Кваля, бледного и обессиленного, когда тот, лежа на одной из многочисленных государственных больничных коек, конфузливо делился с ним:

— Я еще оклемаюсь, Хельге, меня на ноги поставят, можешь не сомневаться. Но видишь, какая закавыка. Врачи говорят, мужчина из меня теперь будет никудышный, и, значит, жену я свою потеряю. Не то чтобы я без этого дела жить не мог, но... сам понимаешь... — Лейф умолк и, не совладав с подступившими рыданиями, забрался с головой под одеяло. Уходя, Хельге Хауге слышал его причитания:

— Господи боже мой! Какой ужас! Какой кошмар!

И это действительно был кошмар.

Но показательно, что к ответу за происшедшее призвали Хельге Хауге как бригадира маляров. Отчасти за этим ведь и держат бригадиров: в случае чего всегда можно свалить вину на них. И лишь после того, как сам Лейф Кваль засвидетельствовал, что Хельге Хауге единственный из всех с большим подозрением отнесся к новой краске, в инструкции к которой, кстати, упоминалось, что попадание ее в дыхательные пути опасно для здоровья, лишь после того, как было установлено, что Хельге Хауге, самолично опробовав новые респираторы, предупредил отдел охраны труда об их далеко не стопроцентной надежности, — лишь тогда это обвинение было с него окончательно снято. Однако сам Хельге Хауге, естественно, продолжал корить себя, и на душе у него еще долго скребли кошки.

Вот почему, когда его пригласили на очередное совещание в дирекцию судоверфи, он решил объяснить положение дел начальству, дабы оно, как он выразился, "раз и навсегда уразумело, в каких хреновых условиях приходится работать малярам".

— Растворитель! — начал свои пояснения Хельге Хауге. — Растворитель, который постоянно вдыхают мои ребята, которым насквозь пропитана их одежда. Вы небось и понятия не имеете, что это такое?

А в танках, когда там работают маляры, больше и дышать-то нечем. Вообразите себе, что ваш административный корпус заполнен парами растворителя.

Растворитель проникает всюду. Медленно, но верно он просачивается сквозь комбинезон,

сквозь белье и добирается до кожи. Там, смешавшись с потом, он образует кислоту, которая въедается в тело. Вас часто не устраивают наши темпы, вам кажется, будто мы тянем резину. А я вот что скажу: маляр, пробывший внизу больше двадцати минут, поднимается совершенно больной. Вот почему я, на собственный страх и риск, запретил работать в танке дольше двадцати минут подряд. Больше никак не возможно. Через двадцать минут тот, кто стоит наверху, у нагнетательного бака, обязан дать ребятам сигнал к подъему. И он вместо краски гонит в шланги растворитель.

Вы когда-нибудь видели маляра, вылезшего из цистерны? Он похож на чудище болотное. Мокрый, липкий, с ног до головы обрызганный краской. На нем сухой нитки нет. Он впитал в себя растворитель, как губка.

Когда вечером принимаешь душ, от тебя воняет за километр. Это растворитель. Он выходит из тебя. Испаряется. Лезет через все поры. За день ты пропитался им до мозга костей, ты, что называется, вымочен в нем. Точно нырнул в бак с растворителем.

Из кожи уходит жир, она иссушается. В конце концов ты начинаешь чесаться, как ребенок, подхвативший ветрянку. А с лицом что творится — страшно сказать. В один прекрасный день ты замечаешь, что остался без бровей. Они вылезли от растворителя. А кожа на лице? Ее маляры меняют, как другие люди меняют рубашки. Но к этому постепенно привыкаешь. К чему нельзя привыкнуть — это к больным глазам. Посмотрев на них в лупу, врач, к своему удивлению, обнаруживает тысячи крохотных частиц краски, въев-

шихся в глазное яблоко под давлением в семь атмосфер. "Вот почему глаза красные! — объясняет он тебе. — В них тысячи микроскопических воспаленных ранок". И тебе выписывают капли и дают больничный до тех пор, пока глаза не подживут. Все замечательно. Но представляет ли себе высокое начальство, с каким чувством маляр после бюллетеня выходит на работу? С какой ненавистью, с каким ожесточением натягивает на себя свежий комбинезон? Он-то знает, что теперь все лечение насмарку. После первой же смены глаза снова красные.

У тебя пахнет изо рта. Пахнет от кожи. Даже когда ты мочишься, в нос ударяет противный, кислый запах растворителя, лишний раз напоминая тебе, что твои почки медленно, но верно разрушаются.

Да, работать краскопультom — это вам, господа, не картошку с капустой сажать, и, пожалуй, самое время зарифить паруса и потихоньку сбавлять ход. А то не миновать нам сюрпризов почище истории с Лейфом.

Хельге Хауге, однако, не сказал и половины задуманного. Он не сказал, что работа маляр-пульверизаторщика, какие бы меры они ни принимали, остается адовой работой. Он не сказал, что случай с Лейфом, собственно, ни для кого не явился неожиданностью. Просто все закрывали глаза на риск, надеялись на авось. Он не сказал также, что растворитель, о вредности которого для здоровья известно теперь каждому, губил и будет губить маляров впредь, а все присутствующие как будто не имеют ничего против. Но этого он не сказал.

”Никто не живет более изолированно, чем мы, — думал Хельге Хауге, стоя в Уголке ораторов в Лондоне. — У нас меньше свободы передвижения, чем у кого бы то ни было, зато больше дождей и темноты. И разглагольствовать мы привыкли только в четырех стенах! В подполье!” Он точно хотел сказать: ”Раб всегда останется рабом!”

Хельге Хауге бродил по Гайд-парку, пытаясь с помощью своих скудных запасов выученного на войне английского разобрать, что говорят все эти люди, взгромоздившиеся на ящики и табуретки, о чем они кричат-надрываются, точно наступают конец света.

Но ничего стоящего он так и не услышал. Почти все была сплошная болтология, чепуха, окоlesiца, игра на публику, как оно всегда и бывает. Только здесь это выступало в более наглядной и концентрированной форме.

Тем не менее он остановился послушать индийца в огромном синем тюрбане на голове, потому что тот возглашал:

— Нет, не все в порядке с нашим миром, если о смерти тысяч людей у нас помещают крошечные объявления, а разводам кинозвезд отводятся целые страницы!

— Катился бы ты лучше в Россию, Сингх! — раздраженно крикнул кто-то.

— Или в Китай! — подхватил другой голос.

— Значит, для вас кинозвезды дороже истины? — спросил индиец.

— Иди ты к черту с этой истиной! — послышалось в ответ.

— Где ты девчонку свою оставил? — со смехом поинтересовался кто-то.

— При чем здесь девчонка? — в отчаянии заорал индеец.

— Девчонки — они всегда при чем! — завопили все вокруг, скаля свои ровные искусственные зубы и надрывая от смеха раскормленные, большие от пресыщения животы.

Хельге Хауге взгляделся в лица собравшихся возле индийца, пытаясь определить, что это за люди. Люди как люди. Рабочие вроде него самого. Однако он их не понимал. А может, наоборот, понимал слишком хорошо?

Да, он видел их насквозь. Они были настолько одинаковы и настолько сильны этим, что могли позволить себе поднять на смех индийца, который пытался разговаривать с ними серьезно. Более того, они явно гордились собой, гордились тем, что собственная глупость и численное превосходство дают им возможность пренебречь речами индийца и даже вершить суд над ним. И теперь, пока он собирал свои вещи, они смотрели на него, как смотрят самодовольные люди на тех, кого считают недостойными уважения, низшим сортом.

“Never, never, never shall the Englishmen be slaves!”¹ Хельге Хауге вдруг вспомнился эпизод, как нельзя лучше подчеркивающий образ мыслей англичан.

Где это было? В Суэце?

Нет, в Порт-Саиде!

Зайдя в порт, они получили приглашение на “Церемонию открытия Норвежского Королевского консульства”, возобновлявшего здесь свою ра-

¹ “Никогда, никогда, никогда англичане не будут рабами” (англ.) — несколько видоизмененная строка из английской песни “Правь, Британия”.

боту. Скромное торжество, которое, по причине войны и связанной с ней нехватки общественных зданий, состоялось в бассейне. Спустив из бассейна воду, гостей с их едой и питьем рассадили прямо на дне, под трамплином для прыжков.

И все же это был прием!

Престарелый и утомленный консул рано откланялся, зато посол, ради такого случая прибывший по суше из Каира, предложил соотечественникам выпить с ним в единственном имевшемся в этом захолустье ресторане.

Внезапно туда с шумом и гамом ввалилась группа английских моряков, которые начали самым отвратительным образом терроризировать посетителей, прислугу и хозяев ресторанчика. Они, как положено, перепились, сквернословили, задирались, оскорбляли местных жителей и показывались со смеху. Одним словом, дорвались до увольнения на берег!

Но когда они стали издеваться над продавцом арахиса, это уже перешло всякие границы. Арахисом торговал мальчонка лет десяти-двенадцати, который, заметив обильные возлияния иностранцев, понадеялся сделать свой маленький бизнес.

Они хватали у него орехи, разбрасывали их по столам и по полу, а несчастный парнишка метался вокруг, умоляя заплатить причитавшиеся ему гроши. Но они не слушали его.

Хельге Хауге сидел как на иголках. Все остальные тоже. Они знали, кем являлись англичане по отношению к Египту. Тем не менее никто не осмеливался вмешаться и положить конец издевательствам.

Хельге Хауге взглянул на посла, тот понимающе кивнул.

— По-моему, пора вступить за парня, пока эти голубчики не доконали его! — сказал Хельге. — И наверное, за это стоит взяться вам, а?

Посол, мужчина крепкого сложения и ростом около двух метров, неторопливо встал из-за стола и направился к распоясавшейся матросне.

С минуту он молча стоял, возвышаясь перед ними во всем своем величии, чтобы до каждого дошло: он хочет говорить с ними. Затем твердо и решительно произнес:

— Неужели мы, европейцы, настолько обнищали, что не можем заплатить за горстку орехов?

Только и всего. Но этого оказалось достаточно, чтобы подвыпившие морячки мгновенно — даже как-то слишком внезапно — протрезвели. Не более чем минуту назад они еще куражились над мальчишкой, а теперь стояли, вытянувшись в струнку, точно свечи на алтаре. Они вытянулись перед старшим, перед человеком выше их по положению. Будучи солдатней, простыми матросами с английских военных кораблей, они и вели себя в духе перепившейся солдатни. С другой стороны, у них хватило ума понять, кто находится перед ними. Что-что, а это им вдолбили накрепко: солдат должен выказывать уважение офицерам в той же мере, в какой не должен проявлять ни малейшего уважения к гражданскому населению.

И теперь они полезли в карманы за мелочью. Парнишке возместили убытки, приплатили за все обиды и оскорбления, и он убежал, страшно довольный, что легко отделался. Посол тем временем вернулся на прежнее место, и небольшая компания продолжила прерванное застолье.

— Чернь! — сказал посол. — Как легко она забывает все на свете! Достаточно нескольких ка-

пель вина, и у людей начисто отшибает память, они уже не помнят, кто они и откуда. Зато спеси и высокомерия этим матросам из империалистической державы не занимать — перепадает с королевского стола. И вот вам результат.

Весьма откровенное высказывание, какого не ожидаешь от человека, занимающего подобный пост.

Хельге Хауге задумался о собственном положении в обществе.

Кое-чего он, несомненно, добился. У него появились деньги, которых так недоставало раньше. Но чего еще он достиг? Что он представляет из себя? Теперь Хельге Хауге затруднялся ответить на этот вопрос. Раньше, когда он занимался политикой, все было ясно и понятно. Борьба за общее дело, конечно же, формирует личность. А теперь? Теперь борьба окончена. Или еще нет?

Подумаешь, великая радость — два раза в неделю заводить машину и ехать за покупками в Креммерхус-Бю, устало думал он. Товаров завались, а что ни копнешь — одна дрянь.

Кофе скверный, пирожные несъедобные, а дерут за все будь здоров. Да еще после универсама и кофейни у нас заведено обойти сотню разных лавчонок и закупить всякой дребедени. Между прочим, работенка не из приятных — в толчее, духотище и под завывания рока. А если это суббота, Гюлле непременно нужно остановиться перед этими идиотами из Армии спасения, которые, вырядившись в свою форму, несут какую-то религиозную галиматью. А в довершение всего раздают "Боевой клич". Можно подумать, нас в свое время недостаточно пичкали этим в других газетах?

И что дальше?

Дальше это испытание кончается. Мы спускаемся на лифте в подземный гараж, запикиваем наше барахло в багажник и едем домой. И все остальное время посвящаем либо работе, либо телевизору. Да, черт возьми, мы только вкальваем, едим, смотрим телевизор и спим. И так всю жизнь. Нет, теперь стало хуже! Раньше у нас по крайней мере было за что бороться, была цель. Сейчас у нас нет ничего. Ведь что такое потребитель? Он существует не сам по себе. Его жизненное предназначение — поддерживать торговлю, приносить барыши толстосумам!

— Сколько же после нас останется денег! — говорит Гюлле каждый раз, когда заглядывает в их три сберегательные книжки. — У нас куча денег, Хельге!

Еще бы не куча! В холодильнике полно, в буфажнике тоже хватает, счета в банке растут.

Зато радости в жизни стало меньше. И отпущенных лет, как это ни печально, осталось мало. Он-то надеялся пожить в свое удовольствие, когда выйдет на пенсию, а теперь даже не уверен, дотянет ли до этого времени.

Да и что это за жизнь!

Одни таблетки, таблетки и еще раз таблетки. Миллиграммы, граммы, килограммы, тонны таблеток в течение жизни. А в конце все равно верная смерть.

Вот почему так приятно бывает погрузиться иногда в воспоминания. Забыв о настоящем и будущем, оглянуться назад, в далекое прошлое, и жить в этих грезах о былом, в прекрасном мире, от которого сохранилось впечатление тепла, доброты и подлинности.

И когда Хельге Хауге предается своим мечтам, путь его лежит близко и далеко, через горы и до-

лы, над тихими лесными озерами и бушующим морем. Он превращается в перелетную птицу, которая, следуя своему инстинкту, летит осенью на юг, а весной на север. Ястреб, гусь, орел, лебедь, ласточка, кукушка, жаворонок, чайка. Кем только не перебывал Хельге Хауге!

Но рано или поздно он неизменно заворачивает в свое детство. А в повести о детстве его чаще всего влечет к себе одна из историй, "история про светловолосого мальчугана".

Это длинная история о мальчике, его лодке и дедушке, о найденных им улитках и построенных из песка замках, а также об одиноких прогулках по берегу моря в Рамберге, при свете закатного солнца. Фигурка мальчика исчезает вдали, а на мелком песке остаются его следы. И волны, точно беря на себя роль небесного заступника, смывают их. "Мы никому не дадим его в обиду, — шепчут они ветру, — потому что он друг всему миру". Фантазия. Сказка, которая разыгрывается все дальше, все глубже и глубже проникая в сознание Хельге Хауге. "Да, пусть себе идет, — подхватывает ветер, — потому что он каждому друг и брат!" И светловолосый мальчуган идет и идет, и волны по-прежнему стирают его следы.

А вот гренландские эскимосы предпочитают скорее уйти во льды и утопиться, чем принять жизнь, которую им навязывают датчане.

И нубийцы, которые до постройки огромной плотины жили в замечательных местах, в райском уголке, на границе Египта и Судана, теперь умирают от горя и тоски по родине, скрывшейся под водой.

Paradise lost¹.

¹ Потерянный рай (англ.).

Хельге Хауге — человек коренастый, плотно сбитый. Чисто внешне его шестьдесят четыре года не слишком сильно на нем отразились. По крайней мере по сравнению со сверстниками. И спина у него почти прямая. Он только чуть сутулится. Тем не менее старые друзья утверждают, что он внезапно сдал. "Из него точно воздух выкачали!" — говорят они.

Да и сам Хельге Хауге не слепой, видит. Теперь каждый год оставляет глубокие отметины.

— Оказывается, вытянуть жилы из среднего рабочего можно за каких-нибудь пятьдесят лет! — печально улыбаясь, констатирует он во время бритья.

На лице, которое отражается в зеркале, лежит печать смерти. Глубоко запавшие глаза. Такие же ярко-голубые, как прежде, они точно не хотят больше смотреть на мир. Отказываются. Насмотрелись. А чего стоит седая щетина, торчащая во все стороны на иссохшем лице! Лице тысячелетней мумии, отвратительном в своей бесформенности, пока он не подправит его с помощью вставных зубов. Сейчас челюсть лежит в ванной, в стакане с дезинфицирующим раствором. Рядом с челюстью Гюлле. И каждое утро, когда Хельге Хауге приближается к ним, ему чудится лошадиная улыбка и ржанье.

НАШИ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ — ЛУЧШИЕ В МИРЕ! ОНИ СИДЯТ КАК ВЛИТЫЕ!

Да, тут уж ничего не поделаешь, Хельге Хауге. Придется тебе потерпеть еще несколько годков. Держись! Все будет хорошо.

И Хельге Хауге старается держаться. Стиснув зубы, он стойко продолжает свой путь. Хотя ду-

ша его истекает слезами. Уж очень сегодня холодно и ветер что есть силы дует в лицо. Однако Хельге Хауге не помышляет о том, чтобы вернуться домой и залечь в постель с кружкой горячего глинтвейна. Он человек надежный, сугубо добросовестный во всех своих поступках. К нему, пожалуй, больше всего подходит сравнение с тяжелой скотиной, с одром, который, несмотря ни на что, упрямо и подвижнически тащит свой последний воз.

Вот только история с крематорием его подкосила. Задела за живое. Несколько дней тому назад милая, добрая Гюлле, с ее неизменной страстью к порядку, рассказала ему, что купила для них обоих местечко в крематории.

И он невольно представил себе, как лежит, вытянувшись, перед небольшим алтарем, в открытом, усыпанном цветами белом гробу. У него по спине побежали мурашки. В углу стоит в одиночестве плачущая Гюлле. В своем неприкрытом и естественном отчаянии она взывает к господу богу:

— Неужели так нужно было отнимать у меня Хельге прежде времени? Он же одно только добро творил! Мог бы ты, господи, дать нам напоследок пожить спокойно. Мы с ним, кроме работы, ничего в жизни не видели, а Хельге через несколько лет пора было на пенсию!

Однако эти причитания не помогают. Хельге Хауге не Лазарь, а Гюлле не Мария, да и Христос по-прежнему на небе. Так что Хельге Хауге остается лежать в гробу, а убитая горем Гюлле уходит.

Вместо нее в часовне появляется директор Клеппе. Надев на нос очки, он начинает читать НЕКРОЛОГ:

— Хельге Хауге всегда был безупречным работником. Да-да, я не погрешу против истины, если назову его трудовой вклад выдающимся, блистательным. Правда, у нас иногда бывали трения... но не его же вина в том, что цены на мировом рынке подскочили, а курс акций промышленных предприятий в тысяча девятьсот семьдесят пятом—семьдесят шестом годах, а также в тысяча девятьсот семьдесят седьмом году резко понизился. Впрочем, в отношении акций дела сейчас обстоят неплохо. Посему я позволю себе сказать нашему глубокоуважаемому Хельге Хауге: почий в мире!

НЕСЛЫХАННО!

Директор надевает шляпу и быстрым шагом покидает крематорий. Его ботинки гулко стучат по каменному полу, в руке зажата папка с бумагами.

Его место занимает Стен. В дверях он закуривает трубку, потом неторопливо подходит к алтарю; лицо его серьезно, одной рукой он придерживает огромный венок.

— Я пришел сказать тебе последнее "прости" от ребят, Хельге. Они просили передать тебе, что ты был молодчина, что ты здорово защищал наши рабочие интересы. И ты, Хельге, многих повел за собой. Вот почему я говорю тебе: спи спокойно, товарищ!

Некоторое время он стоит в неловком молчании. Затем, положив венок на грудь Хельге Хауге, быстрым шагом выходит из часовни. После него остается облако дыма, которое постепенно рассеивается в воздухе. **ПОКУПАЙТЕ "НЕЙВИ КАТ"! ТАБАК ДЛЯ ВСЕХ!**

"ТЬфу ты, что за чушь лезет в голову! Вроде

сказки о трех козлах-драчунах, только хуже. И все потому, видишь ли, что ветер задул по-сильнее”.

Хельге Хауге пытается взять себя в руки, овладеть собой. Не то чтобы он очень испугался галлюцинаций: они приходят и уходят, и с ними ничего не поделаешь. Его огорчает, что он чувствует себя таким подавленным, таким уставшим от всех и вся.

”Проклятые таблетки! — возмущается он про себя. — Это ж отрава, какой свет не видал, а я без них жить не могу!”

У него пересохло во рту. Точно полон рот золы. Но это еще не самое страшное. К горлу подступает отвратительный ком. Не в силах проглотить его, Хельге Хауге начинает задыхаться. Неужели какая-то неведомая вездесущая сила и впрямь задумала погубить его?

Незаметно для себя он переходит на бег. Ледяной ветер, продравшись сквозь пальто, свитер, рубашку и майку, добирается до голого тела. У Хельге Хауге застилает глаза. Что это? Он больше не владеет собой. Это от ветра. Это слезы. Сегодня все плачет. Все кругом! И в его воспаленном мозгу звучат слова старинной песни:

Краснеют листья.
Приходит осень.
И веет смертью
от листопада.

И песней грустной
утешить нужно
сердца, что плачут,
дрожа от страха.

Приходит осень,
забыта радость.
Забыт и сам ты
под листопадом.

Так Хельге Хауге оказывается у ворот верфи. Он видит перед собой отверстую пасть с грозными чугунными зубами. В нее нескончаемым потоком вливаются люди. Привычная и такая тягостная для Хельге Хауге картина. Новая порция людей на потребу машинам. Чтоб выпускалось больше продукции. Чтоб росла покупательная способность. Чтоб человек надрывался все больше и больше. Унылая песня. Картина, лишенная красок. Скрежещут автоматы, пробивающие время прихода, и выплевывают сотни карточек. По этим карточкам ведется учет: столько-то человек проделало такую-то работу. Для рабочего она вроде удостоверения личности. Вроде визитной карточки, по которой все желающие могут найти его.

В раздевалках на смену шапкам приходят шлемы, на смену териленовым брюкам — комбинезоны, на смену туфлям — спецобувь. На руки надеваются перчатки.

Воет сирена.

2

Добравшись до своего закутка в административном корпусе, Хельге Хауге усаживается за письменный стол и приступает к заполнению журнала работ за вчерашний день. Занятие привычное и действует на него умиротворяюще. Он набил руку на этой отчетности, которую нужно вести регулярно, день за днем, чтобы бухгалтерия

и отдел планирования имели представление о том, что происходит в доках, на стапелях, в каждой уголке судов. Первый час рабочего дня отведен у него на эту несложную писанину.

Журнал работ представляет собой огромную книгу в синем переплете, в раскрытом виде занимающую больше половины стола. Талмуд, как ее называет Хельге Хауге. Листы в ней разграфлены на множество колонок, где указываются число, неделя, месяц, фамилии рабочих, выполненные операции, количество затраченных часов — обычных и сверхурочных, за которые полагается надбавка в 40, 50 или 100 процентов. И все это сведено в систему, так что по каждому рабочему дню можно подсчитать общее количество затраченных часов, надбавки за сверхурочную работу и сумму оплаты. А в самом низу оставлено место для "Примечаний". Книга ведется под копирку в трех экземплярах и производит внушительное впечатление на всех, кто не слишком хорошо разбирается в подобного рода канцелярщине.

Хельге Хауге отвинчивает крышку термоса, своего давнего и верного спутника, без которого он не мыслит себе жизни, и наливает кофе в одну из не мытых со вчерашнего дня чашек. Одновременно он включает миниатюрный транзистор. Сейчас будет утренний концерт и сводка новостей, и то и другое стоит послушать... За дело! Он нацепляет на нос очки, раскрывает синий талмуд, вытаскивает из нагрудного кармана новенький шариковый "паркер", несколько раз щелкает его кнопкой и начинает разносить сведения из своей записной книжки по разным колонкам.

И, как уже было сказано, за этим занятием у него проходит час.

Послушав последние известия, он с удрученным вздохом выключает следующую за ними проповедь и отправляется на утренний обход. Ему нужно быть в курсе событий, иметь представление о том, как движется работа и сколько успеют сделать в течение дня — на случай, если кому-то понадобятся такие сведения. Ему ведь приходится писать массу разных отчетов. Там, наверху, постоянно о чем-то запрашивают. Руководители групп, специалисты по интенсификации, инженеры разного калибра хотят знать все до последней мелочи. А вообще напрасно стараются, все равно ребята в доках и начальство в административном корпусе существуют сами по себе.

”У вас тут пускают только при галстукке или можно так?” — шутит Хельге Хауге каждый раз, когда ему доводится заглядывать на этот закрытый для посторонних участок. И ему не откажешь в остроумии. Все помнят, как несколько дней тому назад он водил по строящемуся судну группу специалистов. Это были двое судовладельцев и трое представителей американской туристической компании, у которой свой ”интерес” в судне. Они заявили при полном параде: в белых шлемах, положенных гостям, и на всякий случай даже в перчатках. А поскольку такие люди обычно ни бельмеса не понимают в судостроении, они высказали одно-единственное пожелание: осмотреть уже законченный ходовой мостик, с роскошным пультом управления, радаром и авто-рулевым. Кто-то из них взялся за небольшой штурвал с гидравлическим приводом и, мечта-

тельно глядя вдаль, принялся крутить его.

— Ту-у-у-у! Ту-у-у-у! Отдать концы! — кричал он, и его спутники, смеясь, говорили:

— Нет, вы посмотрите на салагу Харалдсена! Замечательно, правда? Ему не хватает только матросского костюмчика с блестящими пуговицами.

Потом они, естественно, захотели осмотреть капитанскую каюту. Там занималась отделочными работами бригада плотников. Они монтировали мебель и, чтобы не повредить паркет, застелили пол бумагой.

— Прямо-таки номер для молодоженов в "Рио Хилтоне"! — восхищенно воскликнул один американец. Все дружно закивали головами в белых шлемах.

— А в машинное отделение можно заглянуть, Хауге? — поинтересовался кто-то из судовладельцев.

— Пожалуйста, — отвечал Хельге Хауге, — только придется обходить по берегу.

— Почему, Хауге? — удивился судовладелец.

— Трапы, ведущие на корму, перекрыты, в ширстречном поясе заканчивают покраску маляры.

— Ну, Хауге, неужели вы не можете спуститься и попросить их переждать минутку, пока мы проскочим? Это же так далеко — обходить по берегу!

— Хорошо, попробуем! — отвечал Хельге Хауге, прекрасно понимая, что спорить бесполезно. — Попробуем, если еще не покрашен переходной мостик.

И они полезли вниз. Впереди Хельге Хауге, за ним остальные. Палубная надстройка на судне грузоподъемностью в сто пятьдесят тысяч тонн —

машина размером с многоэтажный дом в восточной части города. Однако спуститься на эти семь-восемь ярусов все же легче, чем подняться. Вскоре они добрались до палубы и стали спускаться дальше. Но тут дело пошло значительно хуже. Лестницы сменились трапами, узенькими и почти отвесными. И если моряк по дороге в машинное отделение не будет тащиться ступенька за ступенькой, а, повиснув на поручнях, перебросит тело сразу на следующую площадку, то "сухопутная крыса", спускаясь спиной к трапу, мгновенно теряет равновесие и начинает падать. Вот почему люди непосвященные предпочитают идти задом наперед, то есть повернувшись лицом к трапу и перебирая каждую ступеньку, а такой спуск, естественно, отнимает массу времени.

Хельге Хауге мигом соскочил до той площадки, где докрашивал последние уголки под палубным настилом Одд Хауген. Он стоял на лесах, зажатый между насосами и гидравлическим трубопроводом, и не видел, что происходит внизу.

— Привет, Одд! Это я, Хельге! Ты не можешь чуток обождать? У меня тут сухопутные крысы рвутся в машинное отделение, только боятся, чтобы краской не окатило!

— А чего их нелегкая принесла? Не могут, как все нормальные люди, обойти по бережку и зарулить с кормы? — прокричал в ответ Одд Хауген.

— Послушай, Одд! Это судовладельцы и другие шишки. Сделай на минутку перерыв, чтобы растворитель немножко осел. Они уже спускаются!

— О'кей! Пускай проходят!

Хельге Хауге снова полез наверх и обнаружил своих приятелей двумя этажами выше. Они остановились, поскольку, по их собственному выраже-

нию, потеряли след Хельге Хауге и не решались продолжить путь сами, чувствуя, как "шибает в нос".

— Все в порядке! — сказал Хельге Хауге. — Можно проходить. Давайте только подождем несколько минут, пока улягутся пары растворителя. Двумя площадками ниже идет окраска.

И в то время как они стояли, чувствуя, что дышать постепенно делается легче, один из американцев, смахивавший сейчас на быка в завершающей стадии корриды (он не привык к такой физической нагрузке), ухватился за бортовой стрингер и с силой подергал его.

— Крепко сработано! — похвалил он, когда ему не удалось оторвать стрингер от обшивки. — Хорошо сработано!

Все засмеялись. И не потому, что у американца не хватило силенок, а потому, что он испачкал перчатки белой краской, и потому, что работа была теперь как бы "принята".

"Черт бы его побрал! — мысленно выругался Хельге Хауге. — Придется заново грунтовать и перекрашивать!"

— Давайте спускаться! — сказал он и соскочил на следующую площадку. Он поймал себя на том, что очень независимо держится с этими людьми, и порадовался своему открытию.

— Ловко у него получается, не хуже пожарного! — услышал он сзади и не мог не улыбнуться при виде того, как они, спотыкаясь, ползут следом, точно младенцы, не научившиеся толком ходить.

Он не стал никого ждать. Ему хотелось выяснить, все ли в порядке в машинном отделении, и он двинулся прямо туда. Там стоял чудовищ-

ный грохот: шли испытания шести вспомогательных двигателей. В главном двигателе проверялись поршни, и открытый дизельный мотор высотой в восемь метров и мощностью в двадцать три тысячи лошадиных сил напоминал в своей незащищенности гигантского краба с содранным панцирем. Хельге Хауге не мог оторвать взгляда от этого чуда техники и профессионального мастерства.

”Ничего себе моторчик! — восхищенно подумал он. — Один маховик небось весит не меньше слона!”

По другую сторону открытого главного двигателя трое рабочих монтировали из пятидюймовых труб паропровод. Он должен был в виде горизонтально лежащего вопросительного знака огибать выхлопную трубу одного из вспомогательных двигателей. А труба была раскалена, поскольку крутились на полную мощность моторы. Поэтому рабочие для облегчения монтажа сооружали нечто вроде талей, которые бы поддерживали паропровод в нужном положении.

И вдруг они, побросав все, принялись безудержно хохотать. Они сокрушенно качали головами и прямо-таки умирали от смеха. Хельге Хауге не сразу сообразил, в чем дело: вокруг как будто не было ничего примечательного. Но вот он обернулся и увидел свою свиту. Все пятеро были в той или иной степени обрызганы краской, особенно досталось грузному техасцу, который шел первым. Выше пояса он был сплошь белым, и двое других американцев пытались платками стереть краску у него с лица. Физиономия его была перекошена, веки плотно сомкнуты. Краска попала ему в глаза. От боли и ярости американец вопил как резаный.

— Вы, кажется, сказали, что путь свободен, Хауге! — заговорил один из судовладельцев, отделавшийся сравнительно легко. У него были чуть запачканы плечо и левый рукав. Немного краски попало и на волосы: очевидно, инстинктивно пытаясь спастись от разбрызгиваемой краски, он впопыхах потерял шлем. Хельге Хауге видел, что судовладелец взбешен и еле сдерживается.

— Ну сказал! — отвечал Хельге Хауге, оглядывая собственный комбинезон. Затем он подошел к американцу и на своем ломаном английском произнес:

— Не трите глаза! Ничего не трогайте, сейчас я вам помогу!

Американец постарался ничего не трогать, и Хельге Хауге вынул из кармана баночку ланолина.

— Разве можно жиром в глаза? — возмутились двое других американцев.

— Это не жир, а ланолин. Лекарство, — объяснил Хельге Хауге.

Набрав побольше мази на указательный палец, он приложил одну руку ко лбу американца и, быстро приподняв большим пальцем веко, другой рукой намазал ланолином глазное яблоко. То же самое он проделал со вторым глазом.

— Моргайте! Через несколько минут станет лучше!

Американец послушно заморгал, и вскоре присутствующие увидели на его лице просветление: боль отпустила.

— My God! The man is right! It's like going from burning hell and up to cool heaven! ¹ — вос-

¹ Бог ты мой! А ведь он прав! Я точно попал из ада на небеса! (англ.)

кликнул американец со своим тexasским выговором.

— I suppose we've seen enough! ¹ — сказал другой американец, оборачиваясь к заметно пригорюнившимся судовладельцам. Они подождали, пока тexasец окончательно прозреет, и Хельге Хауге осторожно провел их по крутым трапам до низа машинного отделения, затем на корму, а оттуда, через "запасной выход", на берег. Он точно спасал пятерых котят, которые забрались слишком высоко на дерево и не могли слезть сами. Всю дорогу его обращенных в бегство спутников сопровождали ехидные взгляды и смех.

Настроение несколько поднялось, лишь когда они сняли с себя липкую одежду и помылись. Примерно через час они сидели в буфете административного корпуса, потягивая холодное пиво, и еще чуть взлохмаченный тexasец попросил:

— Теперь раскройте нам тайну своей чудодейственной мази. Где вы ее раздобыли? Я уже чувствую себя нормально. А ведь как болело! Я грешным делом подумал, что без глаз останусь!

— У нас, маляров, — серьезно приступил к рассказу Хельге Хауге, — ланолин известен не больше года, но, скажем, в производстве мыла он используется давно. Есть даже мыло с таким названием — ланолиновое. — Он сделал паузу, точно затем, чтобы слова его звучали весомее, и продолжал: — По латыни (или по крайней мере по-итальянски) "lana" значит "шерсть", "овечья шерсть". И ланолин — это всего-навсего жир с овечьей шерсти.

— Да, но чем он отличается от других жиров? —

¹ Пожалуй, мы видели достаточно! (англ.)

поинтересовался американец. И Хельге Хауге, которому уже не в первый раз приходилось объяснять это, продолжал как по-писаному:

— Чем он отличается, я вам не скажу, а только знаю, что это побочный продукт получения из шерсти волокна. Ланолин выделяется на стадии промывки шерсти. Самое замечательное в нем то, что он не только хорошо предохраняет кожу, поскольку обладает низкой растворимостью, но и может впитывать в себя различные вещества, в данном случае растворитель, который вместе с краской попадает в незащищенные глаза маляра — я говорю "незащищенные" для простоты дела, поскольку надежно предохранить глаза пока нет возможности, но ланолин — самое верное из имеющихся средств, и он значительно лучше того, чем мы пользовались в бытность мою маляром, а именно белого вазелина, от которого кожа просто огнем горела... так вот, маляр, которому попала в глаза краска с растворителем — а это при сложных малярных работах в танкере случается постоянно, — должен лишь поморгать вроде вас. И все пройдет!

— Но как же перепачканный краской маляр ухитряется проделать ту операцию, которую проделали со мной вы? — не унимался американец, и его наивность настолько изумила Хельге Хауге, что он даже усмехнулся, прежде чем ответить:

— Естественно, в отличие от меня маляр не таскает с собой в кармане банку ланолина. Он мажется им до того, как спуститься в цистерну, мажет лицо и особенно верхние веки, потому что ему важно беречь глаза. Он ведь работает в полутьме, среди потоков краски, но ему необходимо хорошо видеть. И если краска рикошетом попа-

дает в глаза, достаточно бывает поморгать и покрепче сомкнуть веки, чтобы ланолин проник внутрь, к главному яблоку. Научиться этому несложно.

Он умолк, задумавшись. Ему еще много чего хотелось рассказать этим сидевшим перед ним господам, любопытным, точно малые дети, однако его собеседники, видимо, решили, что он и так слишком далеко зашел в своем просветительстве и пора напомнить ему, кто он такой и с кем имеет дело, поскольку один из судовладельцев сказал:

— Вот оно как! Значит, тебя спасла овца, Ричард! Что ж, очень было интересно.

Хельге Хауге встал, попрощался со своими спутниками и пожелал им "счастливого плаванья". Но напоследок он вручил американцу шарообразную баночку с ланолином, "на случай, если снова начнет жечь, что, кстати, бывает!". Уходя, он успел заметить, как американец сник от этой новости.

В тот же день в бригадирскую к Хельге Хауге зашел старший инженер Виктор Виттинг-Хансен. Он сказал:

— Чрезвычайно досадный для верфи инцидент, Хауге. Вы действительно заверили гостей, что путь свободен?

— Но путь и был свободен! — отвечал Хельге Хауге, раздраженный оскорбительным вопросом Виттинг-Хансена. Если старший инженер пришел отчитывать и распекать его, ничего не получится. Он, Хельге Хауге, — человек, а не лист ватмана на кульмане! И занят делами поважнее, чем точить карандаши и щипать девиц в лифте. Нет, Хельге Хауге надоело терпеть придирки начальства. Он,

между прочим, не напрашивался в сопровождающие к этим "сливкам общества".

— Да там просто шланг порвался! — вскипел Хельге Хауге. — И нечего, черт возьми, приходиться и устраивать допрос с пристрастием! — возмущенно заорал он.

Виттинг-Хансен, долговязый парень с галстуком-бабочкой, отпрянул на добрый метр.

— Да, порвался шланг! Такое иногда бывает, и надо ж было случиться, чтобы в ту самую минуту принесло этих недоумков. Если бы они согласились сойти на берег и спуститься с кормы, как я предлагал, ничего бы не было. Но ведь этим людям бесполезно что-либо доказывать!

— Ну ладно, Хауге! — сказал Виттинг-Хансен, откашливаясь, чтобы прочистить свое слабое горло. Затем он презрительно скривил пухлые губы, давая понять, что с этой темой покончено и он переходит к другим делам. — У вашего Одда Хаугена, — язвительно произнес он, — много прогулов, не так ли? Вы не могли бы объяснить причину, Хауге?

Хельге Хауге обдало жаром. Точно ему влили хорошую затрецину. Он почувствовал, как покраснел, и увидел, что Виттинг-Хансен с присушим людям его склада удовлетворением отметил это. Старший инженер вопросительно смотрел на него, точно говоря: "Ну-с! Что вы на это скажете?"

Считается, что, если рабочий пропускает по болезни свыше трех дней, он обязан представить справку от врача, однако Хельге Хауге никогда не докучал бригаде столь мелочной опекой. Он знает своих ребят, больше того — знает их проблемы. И чтобы избавить их от необходимости, пересиливая себя, отпрашиваться у него, он сам выбирает

подходящий момент и говорит: "Пора тебе несколько дней посидеть дома, Одд! Глаза горят, как оловянные площадки. Иди-ка ты домой, к жене, и приводи себя в божеский вид". А требовать оправдательные документы — это не по его части. Он же не учитель в народной школе!

Возможно, потому и спорилась работа у маляров судостроительного завода. У Хельге Хауге они не в игрушки играли. И притворяться им друг перед другом не было нужды. Они серьезно относились к работе и были хорошими товарищами. Свободное время они тоже нередко проводили вместе.

Однако Виттинг-Хансена такие отношения тревожили.

"Мы, Хауге, не должны выпускать бразды правления из своих рук. Иначе можно и перегнуть палку с демократией на производстве!" — заявил он однажды на собрании бригадиров. А уж где и от кого подхватил он эту фразу, долго ломать голову не приходилось.

И вот он снова явился цепляться по пустякам. Цепляться, хотя у самого за душой ничегошеньки, кроме спеси и презрения ко всем.

Хельге Хауге с минуту помолчал, раздумывая. Но его совесть была кристально чиста, и он решил, что может разок позволить себе вспылить.

— Да кто ты, черт возьми, такой, чтобы учить нас уму-разуму? — заревел он и ударил могучим кулаком по столу, так что подскочили книги и чашки. — Этих судовладельцев и прочих твоих дружков вообще не следует допускать на строящееся судно. Они представляют опасность и для себя, и для других. А что касается Одда Хаугена, то это лучший маляр на всей верфи и один из

лучших в Норвегии. Работать краскопультом с точностью до тысячной доли миллиметра не умеет больше никто. Скажешь ему — давай шестьдесят микрон, он дает шестьдесят, скажешь — сто, он дает сто. И вы ему за это в ножки должны поклониться, потому что таким образом он экономит верфи тысячи крон в год. Но его с самой весны замучили глаза, уж чем он их только ни лечил, все без толку — заливается слезами, точно безутешная вдова. Поэтому-то я и перевел его на легкую работу, поэтому-то он и пропускает много дней. А тебе я вот что скажу, милейший Виттинг-Хансен: мы здесь, в доках и на стапелях, свое дело знаем. Тут нужно не глоткой брать, а головой. И я требую раз и навсегда прекратить это выматыванье кишок, которое так любите вы в своем административном корпусе. Я вам в этом не помощник. И попробуйте только пальцем тронуть Одда! Нарветесь на забастовку. Если вам снова захотелось волнений, пожалуйста, будьте любезны! Хотя проблема выеденного яйца не стоит.

Старший инженер Виттинг-Хансен понял, что переусердствовал. Глаза его покраснели и сузились до щелок, лицо не выражало и намека на отвагу и решительность. Он, что называется, порядком струхнул.

Хельге Хауге видел, что доконало его слово ЗАБАСТОВКА. Ведь в конечном счете Виттинг-Хансен и сам довольно мелко плавал и над ним тоже стояло начальство, перед которым ему пришлось бы в случае чего держать ответ. А наверху с ним не стали бы церемониться. И Виттинг-Хансену дорого обошлось бы, если бы по его вине на верфи вспыхнули политические волнения. Воз-

можно, он бы даже поплатился своей драгоценной и не слишком грандиозной карьерой.

”Один раз ошибиться можно, но два раза — это уже слишком!” — такое объяснение дал директор Клеппе на заседании совета предприятия, когда уволили заведующего отделом планирования Роналда Элгесена Бюэ.

Виттинг-Хансен считал нужным извиниться, взять свои слова обратно и сослаться на то, что Хельге Хауге неправильно его понял. Он не ставит под сомнение его методы работы, все прекрасно знают, какой ценный для верфи человек Хельге Хауге. Да-да, его очень уважают! Просто на Виттинг-Хансена возложили неприятную обязанность передать Хельге Хауге, чтобы ”впредь таких промашек не было”. Вот и все.

— На том и порешили! — ответил Хельге Хауге и пошел на танкер узнавать, что же там на самом деле произошло.

На палубе юта, за малярной, стоял в лучах низкого вечернего солнца Одд Хауген. Он курил, погружившись в свои мысли, но при виде Хельге Хауге тотчас оживился и замахал руками, призывая подойти.

— Вот он я! — закричал он. — Стою и жду тебя!

Хельге Хауге окинул взглядом могучую фигуру Одда Хаугена. ”Лучший в Норвегии маляр-пультверизаторщик!” — сказали однажды контролеры из ”Атлас Копко”¹ и не сходя с места предложили ему выгодную работу — обучать маляров в Швеции. ”Обратитесь к Хельге Хауге! — ответил

¹ ”Атлас Копко” — известная шведская фирма по производству окрасочной аппаратуры, компрессоров, шлифовальных машин и т.п. Имеет филиал в Норвегии.

тогда Одд Хауген. — Это он меня научил малярному делу”. И отказался обсуждать эту возможность.

— Что же все-таки произошло, Одд? Непредвиденные обстоятельства или ты так мило пошутил? — спросил Хельге Хауге, отрезая себе жевательного табака. Но, увидев расплывшееся в улыбке лицо товарища, и сам догадался: тут не обошлось без озорства. Одд Хауген между тем отвечал:

— На меня, Хельге, точно что-то накатило. Не мог я удержаться. Я ж эту братию насквозь вижу: им на нас и нашу работу начхать. Строят из себя благородных и понятия не имеют, в каком дерьме нам тут приходится копаться, и вникнуть в это им недосуг. Да пропади все пропадом, сказал я себе. Идут они прямо под лесами, дай, думаю, покроплю их малость краской, посмотрим, какой у них видок будет. Знаешь, Хельге, меня точно черт все время подзуживал. Ну пойми, не мог я удержаться, и вот ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш — и дело сделано. Только один, окаянный, заверещал, будто концы отдает. Ой-ой-ой! Да ой-ой-ой! Да ой-ой-ой!

— Ты, Одд, про это помалкивай. Начальству я объяснил, что произошел несчастный случай, порвался шланг. Но, по-моему, ты все-таки чуток свихнулся. Они же могли сверзиться будь здоров как, Одд!

Одд Хауген молчал, лицо его посерьезнело. Он прекрасно понял все, о чем говорил Хельге Хауге, но не мог скрыть притаившейся в уголках губ улыбки.

Впрочем, и Хельге Хауге, высказав то, что считал нужным, больше не развивал эту тему. Они

стояли рядом, опираясь на перила, и смотрели на воды фьорда, переливавшиеся под низким вечерним солнцем, точно расплавленный свинец. Оба молчали. Каждый думал о своем.

Перед ними сновали взад-вперед рыболовные боты, а в ближайших заливах кишмя кишела первосортная осенняя сельдь. Оставалось только черпать ее, пока бот не наполнится до отказа. Оба приятеля отлично знали об этом, поскольку город был завален сельдью. Осень еще сезон крабов и омаров. Какое это удовольствие — повозиться с сетями и ловушками, а они безвылазно сидят в городе.

Вдоль борта судна, распластавшись на легком ветерке, пронеслась парочка чаек, и Хельге Хауге сказал:

— Знаешь что, Одд? Если не будет воскресной работы, махнем-ка мы в субботу в море, с ночевкой, чтоб нам тоже досталось рыбки, а?

Одд Хауген кивнул и сплюнул далеко за борт. А Хельге Хауге продолжал:

— Захватывай женушку и приходи вечером к нам, мы все обмозгуем. Где бы еще снастей хороших раздобыть?

Вечером они вдоволь посмеялись.

— Ха-ха-ха! Тем дело обычно и кончается — ха-ха-ха! — с этими проклятыми чистоплюями, с этими выпендрожниками, у которых денег куры не клюют, правда? — спрашивал, покатываясь со смеху, Одд Хауген, после того как рассказал еще одну забавную историю. Историю, которая, по его словам, "произошла в романских странах Европы", но "вполне применима и к народам, населяющим более северные области".

— Жил-был, значит, крестьянин, — начал он, —

и шел он однажды по большаку с женой и ослом. И вот, представьте себе, попадаются им навстречу люди и давай смеяться: "Нет, вы только посмотрите! У них есть осел, а они идут пешком. Во дураче-то!" А крестьянин наш, значит, отнюдь не был тупицей, а тем паче дураком, которым его обозвали, он и говорит жене: "Если так принято, то чем я хуже других, сейчас мы это поправим!" И взобрался на спину к ослу.

Так они и шли некоторое время.

Но тут, представьте себе, навстречу им снова попадают люди, не привыкшие стесняться в выражениях, потому что они со смехом кричат: "Нет, вы только посмотрите на этого нахала! Сам сидит на осле и в ус не дует, а жене приходится плестись пешком!"

Однако крестьянин, который не был ни глупцом, ни болваном, ни тем паче истязателем собственной жены, какими бывают зажиточные хозяева, быстро смекнул, что допустил ошибку, усевшись на осла, в то время как жена шла пешком; поэтому он сказал: "Если так принято, то, пожалуйста, нам с тобой следует поменяться местами".

Вот как получилось, что теперь жена ехала верхом на осле, а муж плелся рядом. И так они шли довольно долго.

Но тут им снова повстречались люди, которые за словом в карман не лезут, потому что они со смехом стали кричать: "Нет, вы только посмотрите на этого деревенского чурбана! Посадил жену на осла, а сам тащится пешком!"

Крестьянин подумал, что, пожалуй, народ слишком уж распустил языки, однако ничего обидного говорить не стал, поскольку человек он был смышленный и отнюдь не вспыльчивый,

какими бывают зажиточные крестьяне. Нет, он был очень даже покладистый и сказал жене всего-навсего: "Что же получается? Я еду на осле — плохо, ты едешь — тоже плохо. Придется, видно, нам обоим идти рядом с ослом, каждому со своей стороны. Тогда нас, может быть, оставят в покое!"

И жена, для которой слово мужа было законом, слезла с осла и пошла с другой стороны, как велел муж.

Но хотите верьте, хотите — нет, только им снова повстречалась группа людей. И хотите верьте, хотите — нет, но они оказались не менее языкастые, чем предыдущие, поскольку со смехом закричали: "Нет, видели ли вы что-нибудь подобное? Идут муж, жена и осел. И осел не только не везет мужа или жену, но даже не нагружен зерном или дровами. Стыд и срам!"

"Дровами!" — воскликнул крестьянин.

"Дровами!" — подхватила жена, для которой его слово было законом.

"Вот именно, дровами!" — отвечали им прохожие.

И тогда крестьянин, который был отнюдь не так глуп, как это могло показаться, вскричал: "Хоть у вас и нет осла, но мы получили массу полезных советов, и сообща вы вразумили нас с женой. Позвольте спросить, где вы черпаете эту свою мудрость?"

"На городском базаре!" — смеясь отвечали они крестьянину и пошли своей дорогой.

И тогда муж, жена и осел отправились на городской базар, и там умный человек, назвавшийся Иосифом, дал им еще совет: два осла лучше одного.

"Этот Иосиф сказал, — объяснял крестьянин

жене на обратном пути, — этот Иосиф сказал, что два осла лучше одного. — Правильно, — согласился я, — два осла лучше одного. — Сколько же у тебя ослов? — спросил тогда Иосиф. — Один-единственный! — отвечал я. — Послушай же меня, добрый человек, потому что я знаю, как тебе помочь. Эта книжица стоит всего-навсего сто монет, но, поскольку ты хороший человек и мне нравится твоя жена, я уступлю ее тебе за девяносто”.

И крестьянин принялся читать жене книгу.

”Нет животного более неприхотливого, чем осел, — читал он, и жене оставалось лишь согласиться с этим, так как мужнино слово было для нее законом. — Осел — он и есть осел, и потому его можно приучить к чему угодно, — продолжал крестьянин, — например, работать с подвешенной перед носом морковкой или жить, удовлетворяясь самым скудным кормом. Последний совет может особенно пригодиться тем, у кого два осла, но корма хватает только на одного”.

”Ты слышала что-нибудь подобное! — воскликнул муж. — Тут черным по белому написано, что осел может прожить на половине корма”.

И крестьянин стал недодавать ослу сена. С каждым днем осел получал все меньшую порцию, так как его нужно было обратить в другую веру, научить обходиться малым. ”Тогда, — говорил муж своей жене, — мы сможем на том же корме держать двух ослов”.

А жена, для которой его слово было законом, с восхищением смотрела на мужа и каждый день справлялась: ”Как там наш осел?” И муж, следивший за его состоянием, отвечал: ”Теперь он не ест почти ничего”. — ”Велика мудрость человеческая!” — говорила жена в ответ на такие добрые

вести и подносила мужу красного вина за его деловую хватку.

Однако ничего хорошего не получилось. Приходит однажды крестьянин в хлев с положенной ослу щепоткой сена, а тот лежит окоченевший, мертвее мертвого.

Деревенский чурбан глазам своим не поверил. Не он ли исполнял все, в точности как сказано в книге? И вот он, бледный как полотно, идет на кухню и одним махом выпивает бутылку вина. "Что случилось? — спрашивает жена. — Ты нездоров? Али сам нечистый навстречу попался?" Что еще оставалось думать жене, если на мужа лица не было и она никогда прежде не видела, чтобы он зараз осушил бутылку вина?

А муж давай приплясывать и кричать: "Дурак! Дурак! Набитый дурак!" Тут жена, завидев топор на обычном месте, под печкой, шасть за дверь и притаилась в лесу. Но и туда долетали до нее мужнины крики: "Сдох! Сдох! Взял да сдох! А ведь шла впрок моя наука!"

Так закончилась история про осла, и разговор переключился на проблемы Общего рынка.

Одд Хауген был на верфи одним из самых ярких противников Общего рынка, досконально разбирался во всех связанных с ним вопросах и столь язвительно и иронично рассуждал о нем, что в конце концов никто не осмеливался вступить с ним в спор из опасения быть поднятым на смех.

— Удивительно, как всегда кто-нибудь или что-нибудь да проложит дорогу господам! — начал Одд Хауген со своей обычной затаенной улыбкой. — Например, прелюдией к созданию того, что называется Общим рынком, но что мы сегодня

для пущей важности именуем Европейским экономическим сообществом, послужило перемещение людей из Турции, Греции и Италии, а затем из Африки и с Дальнего Востока. И надо вам сказать, речь идет не о пустяках, а о принудительной миграции в масштабах, неслыханных в истории нашего века. Речь идет о миллионах рабочих рук, о великом переселении народов, которое, как стало очевидным сейчас, обернулось катастрофой.

Ввозившаяся из так называемых слаборазвитых стран подневольная рабочая сила была распределена между западноевропейскими империалистическими державами. Англичанам досталась большая часть индийцев, южноафриканцев и тайваньских китайцев, Франции — огромное число вьетнамцев, марокканцев и франкоязычных участников войны в Алжире. Голландия, как нам всем хорошо известно, получила партию филиппинцев и горсточку жителей Молуккских островов, зато на ее долю пришлось множество представителей Южной Америки и Вест-Индии, поскольку в послевоенный период на островах Кюрасао, Аруба и Бонайре обосновался со своими предприятиями нефтяной концерн "Шелл". Бельгия, которой посчастливилось стать штаб-квартирой Общего рынка, пополняла запасы рабочей силы в Конго, но ей достались и большие партии африканеров, переселявшихся в Голландию, где для них уже не нашлось места. А Западная Германия, дорогие мои друзья, Четвертый рейх... в эту страну шел поток людей из Ирана, Судана, Саудовской Аравии и Египта, а также, по особому соглашению с Италией, поступали огромные партии южан-итальянцев, эфиопов, греков и турок. Да, еще

нужно не забыть пакистанцев, которых они, когда внутренний германский рынок оказался перенасыщен, сбывли с рук нам, скандинавам. Поначалу фактически лишь Италия держалась в стороне от этого международного невольничьего рынка. Она и так страдала от избытка населения, а Северную Италию еще наводнили неграмотные крестьяне-арендаторы из Калабрии, Сицилии и Сардинии. Впрочем, итальянское правительство само спровоцировало это переселение, заплатив крестьянам компенсацию и вынудив их прирезать скотину и двинуться на Север, поскольку новые планы предусматривали перестройку сельского хозяйства. И когда Северную Италию заполонили эмигранты с Юга и всей этой преисподней стала заправлять мафия, бывших крестьян начали сбывать в Швейцарию и ФРГ, где еще требовался народ мыть посуду в ресторанах и убирать отхожие места.

В результате такой экономической политики создалось положение, при котором область Европы, славившаяся высокими урожаями самых разнообразных овощей и фруктов, за какие-нибудь несколько лет обезлюдела, превратилась в выжженную степь. И соответственно, цены на помидоры, виноград и апельсины поднялись на двести процентов. И тогда начался грандиозный демпинг: чтобы иметь возможность регулировать цены, на рынок стали тоннами выбрасывать импортную сельскохозяйственную продукцию. Впоследствии еще обнаружилось, что крупные землевладельцы получили от итальянского правительства миллионы крон для оплаты сезонных рабочих, которые должны были собрать урожай апельсинов, винограда, помидоров и маслин, а также для создания

дорогих оросительных систем, однако они просто-напросто наплевали на это и вкладывали свои капиталы в акции промышленных предприятий Севера и в киноиндустрию или, не мудрствуя лукаво, помещали их в швейцарские банки. Места, когда-то являвшиеся житницей Римской империи, превратились в нечто среднее между пустыней, саванной и степью. Лишь на побережье, в небольших оазисах, принадлежавших частным лицам, нежились на солнце умащенные кремами для загара миллионеры со всего Общего рынка.

Да, пятидесятые годы были золотым веком, захватившим и начало шестидесятых. Однако уже к середине следующего десятилетия наметились признаки спада, кризиса, и стало ясно, что необходимо придать Общему рынку более четкую организационную структуру. Положение усугубилось и социальным взрывом 1968 года. Назрела необходимость в проведении основательной чистки, и начались массовые увольнения и высылка иностранных рабочих, внезапно превратившихся в "чужих".

Одновременно снова вспыхнул интерес к родословным. Европа не в первый раз обеспокоилась национальной принадлежностью, и слова "раса" и "цвет кожи" стали играть решающую роль при найме на работу и оформлении вида на жительство. В Мюнхене подняли головы неонацисты, а в Лондоне сторонники расовой дискриминации, не желая отставать от других, создали первую в Англии ку-клукс-клановскую группу. В Турции, Греции и Италии, а также в Португалии и во франкистской Испании вновь активизировались фашисты, а в наших родных краях консервативно настроенная молодежь устроила демонстрацию —

как бы от имени Южного Вьетнама и никсоновского молчаливого большинства — под лозунгами "Спасибо, Америка!" и "Хороший коммунист — только мертвый коммунист!".

Все это, дорогие мои, — звенья одной цепи. За всем стоял Общий рынок, то есть ФРГ, Бельгия и так далее. Поверьте моему слову!

И ведь никто был не в силах противодействовать этой организации, а? Когда мы отказались вступать в нее, нас фактически протащили с черного хода и вываляли в том же дерьме, что и остальных. Кому мы этим обязаны? Ясное дело, тем, под чью дудку мы все пляшем!

А помнишь, Хельге, как всего через три месяца после вступления в Общий рынок Дании мы с тобой сидели в Копенгагене без работы, потому что на верфи "Бурмейстер и Вайн" шесть тысяч человек объявили забастовку? А забастовка была вызвана тем, что подскочили на двадцать процентов цены на продовольственные товары. В том числе цены на сельскохозяйственные продукты, которые датчане, между прочим, рассчитывали экспортировать в страны Общего рынка.

Ты помнишь эту верфь, Хельге? Помнишь громадную столовую с шестью тысячами человек и могучий гул старавшихся перекричать друг друга голосов, когда решался вопрос о забастовке? Помнишь, как объявляли результаты голосования? "Цех А! Бастовать! ...Цех Б! Бастовать! ...Цех В! Бастовать!.." И так далее до конца алфавита, все в том же неумолчном гуле, от которого здание, казалось, вот-вот рухнет на наши головы. А потом гром аплодисментов и торжественная тишина, воцарившаяся на собрании, и, когда все затихли, зал в едином порыве поднялся и запел

”Интернационал” — это был самый многоголосый хор, какой я слышал в жизни, девочки. Шесть тысяч человек под одними сводами пели одну песню. Потрясающий был хор!

Нет, Хельге Хауге не забыл всего этого. Однако в глубине души он должен был сознаться, что трехмесячное пребывание в Копенгагене ушло в прошлое и тот опыт мало чем помогает ему в сегодняшнем противоборстве с действительностью. Но тогда, как ему вспоминалось впоследствии, им тоже владела неопишуемая радость оттого, что довелось присутствовать при таком событии, хотя они с Оддом даже не имели права голоса и не принимали непосредственного участия во всех перипетиях этой несанкционированной забастовки.

В тот вечер Одд Хауген не только напомнил Хельге Хауге о прежних временах, но и натолкнул его на мысли, которые никогда не приходили ему в голову. Хельге Хауге получил новую информацию, увидел события с новой точки зрения, под новым углом, в новой взаимосвязи, и от этого его политическая сознательность выросла на целый порядок. Поняв это, он сначала испугался. Испугался, что он такой дурак и сам не может ни в чем разобраться. Однако постепенно он уяснил важность для себя этой новой сознательности и под конец испытывал лишь безграничное восхищение эрудицией Одда Хаугена.

И он подумал о том, что, собственно говоря, так оно всегда и было: все новое, обладая, казалось бы, удивительной силой и жизнестойкостью, быстро увядает, если не возделывать для него почву. Чтобы собрать урожай, нужно выпалывать в огороде сорняки, поливать его, холить и лелеять. И он вынужден был с печальной улыбкой конста-

тировать, что за последние годы его собственный энтузиазм заметно поиссяк. Он превратился в рыбака, который настолько увлечен клевом, что забыл про высыхающую на солнцепеке пойманную рыбу.

Однако это мнение самого Хельге Хауге.

А спроси любого, кто с ним знаком, и он приметя на все лады расхваливать его и говорить, что Хельге Хауге по-прежнему принадлежит к лучшим представителям рабочего класса. И в смысле опыта он действительно мог каждому из них дать сто очков вперед.

Тем не менее у этого человека, заслужившего всеобщее уважение и на собственной шкуре познавшего историю борьбы рабочего класса нашего столетия, возникло ощущение, что он был слепцом, которому Одд Хауген открыл глаза. Жизнь виделась ему теперь в новом, гораздо более мрачном свете, бремя ее стало еще тяжелее. Со свойственной ему честностью Хельге Хауге, измученный работой и имевший все основания уклониться, отойти в сторону, взял на себя это новое бремя. Хотя он давным-давно свыкся с мыслью о том, что его в любую минуту подстерегает смерть.

Вот оно как! Политика заставила Хельге Хауге забыть о себе. Впрочем, это было ему только на пользу.

Но что еще говорил Одд Хауген?

— Общий рынок означает общий капитал, если вам понятна моя мысль. А под капиталом я имею в виду прежде всего те кроны, которые горстка богатеев получает от миллионов простых людей. На этих кронах и зиждется капиталистическая экономика.

Взгляните на эти два треугольника. Назовем

их пирамидами, поскольку власть в большинстве стран мира основана на принципе именно этой фигуры. А теперь внимательно следите за моими руками. Я беру первую пирамиду и ставлю ее на основание. Вот так! Теперь я беру вторую пирамиду и переворачиваю ее острым концом вниз, так что они соприкасаются только углами. Вот так! Точку соприкосновения мы назовем "центром власти". Ясно? Теперь договоримся, что пирамида, стоящая вверх ногами, — это мир богатых, а та, что стоит на основании, — мир бедных. Наше внимание сразу же привлекает к себе тот факт, что эти два мира соприкасаются лишь в одной точке. Это очень важное наблюдение. Если бы пирамиды соприкасались гранями, мы получили бы не два треугольника, а один четырехугольник. И чтобы продемонстрировать это, я их сейчас сложу, вот так. Смотрите! Однако вернем их в прежнее положение. Вот так! Едва заметная точка касания, которую мы назвали "центром власти", снова оказывается на пересечении мира богатых и мира бедных. Эти два мира сообщаются друг с другом лишь через "центр власти". Лишь через это крохотное игольное ушко могут караваны проникать из одного мира в другой. Понятно? Не случайно говорится, что мы живем в двух разных мирах. Ведь, как известно из Священного писания, верблюды не может пройти сквозь игольное ушко!

Однако давайте представим себе, что эти два треугольника образуют песочные часы. Медленно, но верно песок из мира богатых пересыпается в мир бедных. И заметьте, через "центр власти"! С такой же скоростью, как беднеет мир богатых, обогащается мир бедных, что мы можем наблюдать на примере арабских нефтедобывающих стран

или, скажем, фашистских режимов в Южной Африке и Южной Америке.

Капитализм развивается по принципу песочных часов, а песочные часы, как вам хорошо известно, время от времени переворачиваются. "Взад ли, вперед ли, концы равны, туда и сюда — рамки тесны!"¹ И "центр власти" неизменно остается той точкой, через которую проходят все богатства, прежде чем превратиться в новую энергию, новую продукцию, новые рынки сбыта и новое разрушение. В этом сущность капитализма.

Но посмотрите, что произойдет, если я приложу пирамиды гранями. В одну секунду два мира превращаются в один. И это превращение Маркс и его последователи называют "революцией". Вот оно как, друзья мои!

Однако позвольте мне еще более наглядно проиллюстрировать идею "центра власти" и "песочных часов" — на примере, хорошо нам всем знакомом, но знакомом лишь с одной стороны, поскольку, как я уже говорил, существуют два различных мира.

Помните забастовку рабочих компании "Цинк" в городе Одда?

Я к ней тоже в некотором роде причастен. Вы помните, что я состоял на верфи в комитете помощи забастовщикам, и должен признаться, я многое почерпнул из этой работы. В страшных условиях приходится им жить в этом Сёр-фьорде! Я ездил туда во время забастовки и сам почувствовал, как давит на человека тамошнее окружение, эти черные утесы, нависающие над головой,

¹ Г. Ибсен. Пер Гюнт. Действие второе, четвертое и пятое.

точно гигантские застывшие волны. Ну и местечко, скажу я вам! Пустыня, где нет ничего, кроме людей на территории завода, кучки построек, отвесных скал и гладкой зеленовато-серой воды. Забытая богом дыра!

Но не будем отвлекаться.

Когда мы, приехав туда, перевалили через хребет, мы точно окунулись в кишачий народом гигантский черный котел. Вся страна, от Хаммерфеста до самого Свинесунна, прислала своих представителей на подмогу двумстам пятидесяти рабочим парням "Цинка" и их семьям. А дело было в том, что, рассчитываясь весной с рабочими, государство обещало им осенью провести переговоры о повышении зарплаты, с тем чтобы компенсировать рост цен. Однако управляющий — по фамилии Брэг или что-то в этом роде — категорически отказался вести переговоры с рабочими. Не пожелал, видите ли, ни вести переговоры, ни прибавить зарплату и таким образом совершил грубую ошибку. Потому что эта забастовка как нельзя лучше выявила зависимость Норвегии от международного монополистического капитала. Потому что эта забастовка показала в истинном свете не просто плохое предприятие, но одну из наиболее крупных и могущественных организаций в мире, бельгийскую компанию "Сосьете женераль де Бельжик", чьи руки обагрены кровью бедняков во многих странах мира.

Вы небось считали "Цинк" чисто норвежской компанией? Ничего подобного, отделением "Цинка" в Олде владеют на паях вышеназванная бельгийская "Женераль" и швед Валленберг. А ему, помимо этого, принадлежат и "Кустос", и "Сафвеанс", и Скандинавский частный банк, и Швед-

ский шарикоподшипниковый завод, и "Сандор", и "Альфа Лаваль", и неизвестная "Атлас Копко", которая поставляет нам краскопульты, пистолеты-распылители и другие причиндалы. Они еще меня, если помните, звали на работу в Швецию. А для вас, девочки, могу сообщить, что Валленбергу принадлежит и "Электролюкс".

Валленберг, так сказать, специализируется по Южной Африке и ходит в дружках у Форстера. Оба они работают в одном направлении: углубляют пропасть между классами, разжигают лютую расовую ненависть, платя коренному населению вдвое меньше, чем белому, и наотрез отказываясь вести переговоры с представителями африканских профсоюзов. А форстеровская Южная Африка и "Цинк" в Одде тесно связаны между собой — через того же Валленберга и Скандинавский частный банк. Как поет Корнелис Вресвейк: "Остер клинок у шведа!"¹

Да, у Валленберга в одной только Норвегии свыше девяноста филиалов его компаний, и в экономике страны он занимает третье место после государства и Норвежского кредитного банка, с оборотным капиталом примерно в четыре миллиарда. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что подобно авиакомпани, которая связывает между собой различные уголки мира, финансовая олигархия также обладает разветвленной сетью связей. Поэтому в каждой стране, куда проник Валленберг, у него есть на кого опереться.

А второй владелец "Цинка", спросите вы?

Второй пай принадлежит "Компани руаяль

¹Строка из поэмы "Карл XII" шведского поэта-романтика Эсайаса Тегнера (1782—1846). Корнелис Вресвейк — шведский поэт, композитор, популярный исполнитель песен.

Астурьен де мин”, которая имеет восемь дочерних предприятий, действующих в шести странах. А сама эта компания в свою очередь является собственностью некоего концерна под названием ”Юньон миньер”, экономического гиганта, заправляющего тридцатью шестью фирмами в девяти-десяти странах. И как вы думаете, кому принадлежит ”Юньон миньер”? Правильно, всемирно известной монополии ”Сосьете женераль де Бельжик”, а над сколькими фирмами главенствует она, это не известно никому. Мы знаем лишь, что она ворочает делами банков и страховых компаний по всему миру, что ее капиталы вложены в горнодобывающую промышленность, энергетику, судостроение, черную и цветную металлургию, в нефтехимию и производство пластмасс, в строительство, в том числе в сооружение шоссе и железных дорог, плотин, а также промышленных предприятий и учреждений, в частности школ и больниц; помимо этого, она занимается морскими перевозками — не случайно норвежские судовладельцы заделались фрахтовщиками, — наконец, в сферу ее интересов входят добыча нефти и тяжелая промышленность, и все это, друзья мои, в таком масштабе и с таким размахом, что компания, того гляди, переплюнет Рокфеллеров. И что, скажите на милость, могут противопоставить этому двести пятьдесят рабочих в Одде? Им остается лишь потуже затянуть ремни.

А теперь обратимся к войне в Бельгийском Конго. Милые мои Хельге, Гюлле и Марен! Поверьте, что я говорю истинную правду!

Помните тысяча девятьсот шестидесятый год? Это был год, когда французы потеряли Алжир и когда Лумумба сплотил вокруг себя конголез-

ский народ, чтобы покончить с бельгийским колониализмом. После того как Лумумба был признан ООН в качестве главы нового правительства, этой нашей "Женераль" удалось в сговоре с Чомбе отколоть богатую полезными ископаемыми провинцию Катанга от остальной страны. И что сделала Бельгия? То же самое, что нынешним летом: направила отряды парашютистов, которые повели наступление на независимую республику Конго.

Вы помните, как на помощь Лумумбе были посланы войска ООН? Помните, как он и его сподвижники были зверски убиты? А кто их убил, не знаете? Тогда я вам расскажу.

Младший партнер "Женераль", концерн "Юньон миньер", подкупил отряды белых наемников, которые подняли мятеж, а затем прикончили Лумумбу и его сторонников. Они еще пытались скрыть убийство, спрятав труп в холодильнике, пока сами спешно заметали следы своей грязной работы. И когда им показалось, что теперь можно жить спокойно, они выбросили труп за ворота. Вот как действуют монополии для защиты собственных интересов, и уж будьте уверены — все крупные купюры нажиты с помощью злодеяний. Без крови достаются только фальшивые деньги!

Но обратите внимание, как тесен оказывается мир, когда едешь по главной, и единственной, улице Одды. Обратите внимание, как много связывает рабочих, гнущих спину на одних хозяев, даже если их разделяют тысячи километров. И я счастлив, что мне довелось наблюдать Одду в тот субботний вечер.

Помню пожилого рабочего, взошедшего на трибуну в кипевшем страстями кинозале. Он даже

прослезился, не в силах совладать со своими чувствами по поводу грандиозности происходящего.

— Я хотел идти со всеми! — всхлипывал он, утираясь рукавом рубашки. — Хотел! Только духу не хватало! Вам не понять, как здесь, в Одде, на нас со всех сторон нажимают. Администрация — против нас, церковь, профсоюзы, конторы социальной помощи — против нас, все обрушилось на нас, чтобы подавить забастовку. Если профсоюз ее не санкционирует, плохо твое дело.

Черт знает что такое! Я — коммунист с большим стажем, и в свое время никто не мог бы упрекнуть меня в бездействии. Я не прятался в кусты при малейшей опасности. Но теперь, когда у нас отняли право на забастовку, мы не можем настоять на своем, не теряя работы. Товарищи! Если б вы знали, какую борьбу мне пришлось выдержать с самим собой перед началом демонстрации! Я хотел участвовать, очень хотел, но не решался. Даже сказать стыдно: я — и вдруг не решался! Я пришел к месту сбора, но не встал в ряды демонстрантов, а двинулся поодаль. Однако, когда я услышал оркестр, услышал ваши песни, когда я увидел, как вы увлекли и зажгли всех и каждого, вдохнули в них уверенность в своих силах, когда я увидел, как рабочие один за другим присоединяются к демонстрации, я не смог оставаться в стороне. Мне дали факел, и я зажег его и стал петь вместе со всеми. Огромное вам спасибо за то, что вы подарили сегодня рабочим в Одде! От всей души спасибо вам, товарищи!

Об этом и еще о многом другом толковали они в тот вечер у Хельге Хауге. Одд Хауген был из тех, кто любит говорить долго, пространно и вдохно-

венно, хотя его аргументы и его суждения о людях многим казались излишне категоричными, а иногда поверхностными и легкомысленными. Но Хельге Хауге был благодарным слушателем, и ему эти разговоры не наскучивали. Ведь Одд Хауген всегда рассуждал о вещах важных и интересных. Будучи человеком неглупым, он прекрасно разбирался и в самих событиях, о которых шла речь, и в их подоплеке. Он был подкован по всем статьям и относился к той малочисленной группке людей, которых на верфи иронически называли "профессионалами", или "профессиональными революционерами", точно в политической активности было что-то зазорное.

Хельге Хауге стал перебирать в памяти разговоры, которые они вели раньше. Особенно хорошо запомнился ему один из них. Он, как говорится, запал в память. А речь тогда шла о том, как мелкую рыбешку пожирает крупная и как эта мелюзга совместными усилиями может справиться с самыми страшными морскими разбойниками. И ему стало очевидно, что рассказ о "Женераль", о Валленберге и теории песочных часов тоже непременно западет в память. Так и накапливается сознательность и складывается мировоззрение, постепенно, слой за слоем, из различных источников, когда пережитое непосредственно тобой дополняется знаниями, полученными из книг, фактической информацией. Считают, что из таких отложений, накопленных, например, на дне морей, получается самая плодородная почва.

Хельге Хауге никогда не мог взять в толк, почему Норвегия ведет торговлю в основном с Швецией или через ее посредство. Теперь это стало для него ясным. Не понимал он и того, зачем и для че-

го учредили Общий рынок, против которого он чисто интуитивно восставал. Теперь он увидел Европейское экономическое сообщество глазами западногерманских и бельгийских промышленных магнатов и уяснил для себя необходимость Общего рынка. Он во многом сумел разобраться, и это наполняло его радостью. А теория песочных часов! Она же гениально представляет систему отношений в мире. Два треугольника на одной оси. Около общего центра. Богатые и бедные. И никакого обмена информацией между двумя замкнутыми мирками. Теперь все было предельно ясно.

На кухне, над плитой, Гюлле повесила маленькие песочные часы, чтобы замечать время варки яиц. Это была продолговатая стеклянная колбочка, сплюснутая посередине, так что почти делилась на две. Сообщались обе половинки через крохотное отверстие, достаточное, однако, для того, чтобы через него проходил мелкий красный песок. Песок сыпался из верхней части в нижнюю, а когда нижняя часть наполнялась, часы переворачивались. При этом они задевали маленький колокольчик, который подавал сигнал, что яйца готовы. Те, кто любят яйца вкрутую, варили их дольше.

Хельге Хауге снова и снова возвращался взглядом к этому прибору, и тот словно обретал в его глазах особую значимость. Значимость не только во времени, но и в пространстве, не говоря уже о символике, заключенной в звоне колокольчика, когда время истекало.

— Революция... — сказал Хельге Хауге с улыбкой на пересохших губах. — Мне до этого дня не дожить, — добавил он, разглаживая складки у рта, как расправляют завязанные бантиком шнурки. Эти складки придавали его лицу выражение,

подтверждавшее горькие слова.

”Не приходите ко мне на похороны! — думал Хельге Хауге. — Не хочу слышать ваши дурацкие речи о демократии, об участии рабочих в управлении производством и о моем доблестном труде на благо родины и народа. Хочу, чтобы меня сбросили, как мешок с картошкой. Скиньте меня за борт, привязав к ногам груз, и дайте спокойно пойти ко дну! Отпустите раз и навсегда на волю вольную!”

Можно скрыть все, кроме лжи в глазах, а бывают в жизни ситуации, когда ложь дороже правды. Человечество начало задумываться о несправедливости смерти с тех пор, как пошла борьба против всяческого лицемерия, всяческой лжи и фальши во всех общественных установлениях. Чем-чем, а чувством справедливости и постоянным стремлением к ней мы наделены сполна, хотя священники и утверждают, будто ”гомо сапиенс” по натуре своей отвратительное создание, дикий зверь, лишь перебравшийся из лесов и с гор в иные условия. Будь это действительно так, мы, пожалуй, до сих пор не ушли бы дальше костра где-нибудь на лесной опушке.

Вернувшись после утреннего обхода в бригадирскую, Хельге Хауге готовится к завтраку. Он включает радио (будет передача ”Девять часов”), разворачивает ”Арбейдербладет” и достает выдавшую виды железную коробку с завтраком, обхваченную двумя красными резинками, а из нее — бутерброды на испеченном Гюлле хлебе: с колбасой, паштетом, маринованными огурчиками, сыром. Каких-нибудь несколько лет тому назад коробка была набита толстыми кусищами хлеба. Здоровая пища для здорового мужчины... Теперь это тонень-

кие ломтики, даже не намазанные маргарином. Диетическое питание. Так же, как и содержимое термоса. Это уже не кофе с молоком, а скорее молоко с кофе, и молоко-то обезжиренное. Только сахара Хельге Хауге лишить не удалось. И он вытаскивает из стенного шкафа сахар, а заодно и баночки с лекарствами.

И вот все разложено на столе — ни дать ни взять пикник на лоне природы. Натюрморт из жизни Хельге Хауге!

— Да, совсем я разваливаюсь, — вздыхает Хельге Хауге, надевая на нос очки для чтения. — Красная мне цена — три склянки таблеток. — Он отвинчивает три крышки, вытряхивает на ладонь таблетки, забрасывает их в рот и поспешно запивает своим не то кофе, не то молоком. — И рыбалки нам с Оддом не видать как собственных ушей. Попели наши выходные! Опять сверхурочная работа. В четверг будут испытывать под давлением третий танк по левому борту. Вечно такая петрушка!

И перед глазами Хельге Хауге всплывают отчетливые видения. Как тогда, когда он тонул и перед ним, точно в кино, прошла вся его жизнь. Он видит пышущую жаром кочегарку на "Аните", одном из первых судов, на которых он ходил в море. Видит бушующий в пасти топки огонь и красноватые отблески на стенах кочегарки. Он видит обливающегося потом кочегара. Это молодой Хельге Хауге в до нитки промокших брюках из чертовой кожи, в тяжелых сапогах, без рубахи, с блестящим в свете топки телом, почерневшим от сажи и пепла. Проклятая работа! На лице его застыла мрачная усмешка, каждая лопата угля, брошенная в раскаленную добела топку, стоит напряжения всех мускулов.

— Р-р-раз, два-а-а! Р-р-раз, два-а-а!

Он вкалывает на полную катушку. Пот течет по вискам, крупными каплями скатывается с носа. Точно из плохо закрытого водопроводного крана. Кровавый пот.

Да, таким был Хельге Хауге тридцать пять лет тому назад. Человек в броне из мускулов, которому не страшна никакая работа. Но по крайней мере в те времена на крону можно было что-то купить! И еще: когда у него начинала кружиться голова и закатывались глаза, он глотал несколько таблеток соли — это называлось "солевым шоком". Сейчас он прибегает к другим средствам. Дигиталис и нитроглицерин в придачу к валиуму, да пара рюмок виски, чтобы промыть сосуды от накопившихся шлаков. Стук сердца отдается в груди Хельге Хауге, как в пустой бочке, потому что клапаны еле держатся. Развалина, да и только, человек, выжатый как лимон, годный лишь на помойку, на растерзание крысам и воронам, однако ему не дают свалиться с помощью достижений современной науки, внедрения которых в свое время добивался он с товарищами.

Все замечательно! Лекарства чудесные! Земля круглая и одновременно плоская как блин... и фармацевтам тоже нужно чем-то зарабатывать на жизнь!

Чтобы отвлечься от своих мыслей, Хельге Хауге делает погромче радио.

— Передача "Девять часов" побывала в педагогическом училище города Эйк, студенты которого поставили собственный мюзикл, — говорит ведущий. — Предлагаем вашему вниманию несколько отрывков из него.

Хельге Хауге склонился поближе к приемни-

ку. Берет несколько аккордов гитара, и вслед за ней в темную комнатку с разложенными на столе земными радостями врывается песня:

Мы с войны полезли круто в гору
и гигантский сделали прогресс!
Больше нету слез кругом,
мир вселился в каждый дом,
хорошеет все.
Если мы живем не тужим,
что еще для счастья нужно?

В то время мы похвастаться могли:
наш Эйнар и наш Хокон Ли¹
дружков себе нашли из США,
но те сказали: "В НАТО вам пора!" —
"Спасибо, вступим!
Нам полный есть резон
от этих русских создавать заслон!"

И из Америки получены кредиты
на то, чтоб строиться и торговать.
Заводы возвели.
Давай гнуть спины,
а деньги, в довершение картины,
в чужую потекли мошну. Ну что ж,
всем пригодится лишний грош!

Но толки тут пошли о том, что нужно
и власть и деньги честно поделить.
Но толки тут пошли...

¹ Эйнар Герхардсен (род. в 1897 г.) — лидер Норвежской рабочей партии, неоднократно занимавший пост премьер-министра Норвегии, в том числе в период с 1945 по 1951 г. Хокон Ли (род. в 1905 г.), начиная с 1945 г., был в течение долгих лет генеральным секретарем Норвежской рабочей партии.

Дослушать песню Хельге Хауге не удалось, так как появился Арне Бруа, человек из Телемарка, который посредничал в его делах, связанных с домом в деревне.

Собственно, в Тиннегрени их с Гюлле занесло совершенно случайно. Они ехали на машине в Рьюкан. Но прежде чем начинать подъем на гору Гёуста, решили передохнуть и свернули в сторону от торных туристских дорог. Тут и свершилось чудо. Они наткнулись на поразительную по своей живописности уединенную долину: внизу, в сотне метров от них, спускались к берегу озера пять крестьянских дворов, от которых в лучах горячего предвечернего солнца веяло покоем и безмятежностью.

Они с Гюлле сидели на пригорке, глядя на этот умиротворяющий пейзаж, и у обоих родилась мечта. Хельге Хауге чувствовал, как бешено заколотилось в груди сердце, как быстрее потекла по жилам кровь. Он видел это место раньше, непонятно когда и где, но видел. Ему были знакомы здесь очертания каждой горы, знакома каждая тропка в густом ельнике на склоне, каждая трясина на берегу. Впервые в жизни он чувствовал, что перед ним предел мечтаний, и он прекрасно понимал почему, и он понимал, что здесь мог бы наконец обрести себя. Хельге Хауге с необычной для последних лет силой обнял Гюлле, и она ощутила в его объятии страсть, сердца их воспламенились, точно опаленные знойным июльским ветром, и оба поняли, что здесь их дом.

Они начинали новую жизнь. И толчком к этому послужило чудо.

Так они и сидели в свете багряного заката. Сидели без слов: за них говорило все вокруг.

Хельге Хауге вспоминались хуторок Бессе и Фредрика, их домишко со скрипучими половицами, черемуха, дикий виноград и осиные гнезда и деревенские ласточки под крашеными застрехами. Белый стол, скамья и два стула в тени раскидистой яблони. Пшеничный хлеб с сыром и мерное жужжание электродоилки. Три коровы, теленок и лошадь с такой привычной кличкой — Вороной. Бессе с Фредриком на табуретах, и перед каждым — подойник, подставленный под огромное, раздувшееся от молока вымя. Коровы отмахиваются от хозяев хвостами, а Фредрик покрикивает: "Да стой же ты спокойно, Милка!" Воскресный завтрак — компот из ревеня на белой скатерти, а после завтрака — прогулка босиком по росистой траве к колодцу, чтобы вместе с Фредриком принести на вечер воды. А в ручье застыла под мостом форель, лишь изредка пошевеливая плавниками.

У Хельге Хауге рождались одни только светлые воспоминания, и он не мог оторваться от этого места. Ему нужно, ему необходимо было поселиться тут!

И они не поехали в тот вечер дальше, вернее, проехали совсем недалеко, до ближайшего поселка, и остановились в небольшой гостинице, где для них нашлась комната.

Ночь Хельге Хауге провел почти без сна. Он лежал на спине, положив руки под голову и глядя в потолок. Мысли его неслись, обгоняя друг друга, и он сам не знал, во сне или наяву это с ним происходит, пока первые лучи солнца не пробились между занавесками и не начал заниматься день. Тогда он поднялся и вышел на улицу. Стояло ясное, погожее утро, и он брел куда глаза глядят,

размышляя обо всех бесчисленных делах, которые найдутся у него, когда он наконец выйдет на пенсию.

”В конечном счете главное — это близость к земле! — рассуждал он, настроенный бодро и решительно. — Что, если мне и правда удастся купить клочок земли у озера? Вот где мы смогли бы на старости лет пожить как люди!”

На завтрак были яйца, козий сыр, масло и кофе с молоком. Затем они поехали обратно в Тиннегрени. И окруженная горами впадина произвела на них едва ли не еще более сильное впечатление, чем вчера. В этот ранний час над темной поверхностью озера носился на невидимых крыльях легкий утренний туман. И в ту самую минуту, когда они спустились на берег, солнце подхватило туманную дымку и увлекло в вышину. Точно огромная ведьма на помеле, полетела она вдоль горных склонов и растаяла в воздухе. Явившийся следом утренний ветерок зарябил прозрачную коричневатую воду, а низкое солнышко подсветило эту зыбь, так что казалось, будто кто-то бросил в воду пригоршню драгоценных камней. Над вершинами темно-зеленых елей, метрах в двухстах от них, пролетел сарыч, все повадки которого выдавали хищника. Хельге Хауге следил в бинокль за его стремительным полетом, пока птица не исчезла из виду.

Здесь, у озера, они чувствовали некое единение. Единение с природой, единение друг с другом, единение с самими собой, какого не испытывали за все время своего супружества. И они неторопливым шагом двинулись вдоль берега. В немом удивлении смотрели они на бобра, который поплыл наутек с зажатой в зубах здоровенной ма-

кушкой ольхи. Волочь такую громадину было явно нелегко, из воды торчали лишь глаза и кончик носа зверька. Но он усердно работал хвостом, и расстояние до запруды постепенно сокращалось. Наконец он вместе со своим грузом нырнул и больше не показывался.

Ходила кругами, безостановочно плясала, гоняясь за добычей, форель. Вода и воздух в тесном взаимодействии, в чистом, едва ли не первозданном виде. И Хельге Хауге с Гюлле уселись понаблюдать за исполинской совместной работой сил природы.

— Удивительно, — нарушил молчание Хельге Хауге, — как согласованно устроено все в природе, сам господь бог не придумал бы лучше! Лиса не станет убивать в пределах своей территории, и не ясыть не тронет грызуна поблизости от своего гнезда. И все у них просто: выпадет голодный год для ястреба-тетеревиатника, так его самка будет откладывать яйца через день, чтобы птенцы, вылупившиеся первыми, могли в случае чего подкормиться теми, что помладше. Все в природе нацелено на выживание. Только мы, двуногие, убиваем и разрушаем, прикрываясь именем закона. Прочие твари стараются не дать природе и миру сбиться с пути. Ими движет инстинкт, а нами, по идее, движет разум, и мы считаем себя умнее их. А мне кажется, есть доля истины в утверждении, что чем ближе человек к природе, тем с большей осторожностью он должен относиться ко всяким новшествам. Ведь не почему-нибудь, а из-за механизации сельское хозяйство перестало кормить тех, кто им занимался. Боюсь, что мы идем куда-то не туда, если люди, испокон веку бывшие крестьянами, снимаются с места и начинают

зарабатывать на жизнь в металлургии или на производстве пластмасс.

Обойдя озеро почти кругом, они увидели перед собой ближайшую к берегу усадьбу. Она стояла в запустении. Это было сразу заметно. Ни малейшего признака людей или скотины, голые окна без занавесок и цветов. По мере приближения стали различаться отдельные постройки. Они сгруппировались вокруг большого дома с мансардой: стоящие рядом, почти стена в стену, конюшня и загон для овец, и стаббюр — сарай на сваях, — и прачечная. Крыша конюшни провалилась, но овчарня была еще в приличном состоянии. Как, впрочем, и другие строения. Дождь и ветер оставили свои следы на дереве, соскоблив просмолку с наиболее уязвимых мест: на северной стене — под коньком, на южной — почти со всей стены. Потрескавшиеся, изрытые бороздами доски стали пепельно-серыми. Рамы пришли в полную негодность, но внутри дома царил образцовый порядок. В углу стояла кровать с изящной старинной росписью в национальном стиле, и вообще все, что располагалось напротив огромного камина, в том числе идущие вдоль стены скамьи, было расписано и украшено резьбой. К одной из стен прикреплялся откидной деревянный столик. Но в кухне было совсем пусто.

Через крохотное окошко они заглянули и в прачечную, где хранились дрова. Только стаббюр оказался недоступен их любопытным взорам.

Впрочем, с них было довольно. Они посмотрели самое главное и теперь точно знали, что им тут нравится и они хотели бы провести здесь оставшуюся жизнь. Вопрос был лишь в том, продается ли усадьба.

Они долго не могли достучаться в ближайший двор, но наконец к ним вышли мужчина лет за пятьдесят и его жена, которая выглядела старше. Мужчина заявил, что ничего не знает про заброшенную усадьбу, а если их что интересует, пусть обращаются к соседям.

Послушались доброго совета. В соседнем дворе их встретили три пожилые женщины, сказавшиеся сестрами. Ласково улыбаясь, они пригласили Хельге Хауге и Гюлле "отведать кофе". Да, в этой усадьбе никто не живет года эдак с шестьдесят второго, объяснили сестры. И пожалуй, самое время там кому-нибудь поселиться и взять дело в свои руки. Но сами они никакого отношения к усадьбе не имеют, вот их двоюродный брат, Юн Нурдистуэн, — ее законный владелец, и как раз сейчас его можно застать дома. Он тут неподалеку живет, видно из окошка. Два шага идти.

Однако Хельге Хауге с Гюлле умудрились заблудиться. По дороге им попала еще одна усадьба. Они постучали в нее, и через некоторое время из-за двери донеслось: "Я не выхожу и к себе никого не пускаю!"

Хельге Хауге: "Мы ищем Юна Нурдистуэна! Он случаем не здесь живет?"

Голос изнутри: "Дался вам этот Нурдистуэн! Здесь такого нет. А если он вам позарез нужен, идите дальше и придете к его усадьбе. А меня оставьте в покое!"

Наконец они добрались куда надо, и Юн Нурдистуэн оказался дома.

— День добрый! Входите, пожалуйста! Как же, как же! Сестрицы только что звонили, про вас рассказывали. Так-так! Интересуетесь, значит, усадьбой?

Говорить с Юном Нурдистуэном было все равно что идти на демонстрации 17 мая¹ под проливным дождем или, того хуже, соревноваться по плаванию в бассейне с патокой. Юн Нурдистуэн ходил туда-сюда, точно кот вокруг каши, и тараторил без умолку — такого Хельге Хауге не видывал за все свои шестьдесят с лишком лет.

”На него точно медвежья болезнь напала, и несет его, и несет, и ничего с этим не поделаешь!” — объяснял он потом Гюлле. В общем, продавать усадьбу Юн Нурдистуэн не собирался, хотя и родственников, которые бы на нее претендовали и могли ею заняться, у него тоже не было. ”Кто же в наше время будет расставаться с недвижимостью?” — говорил он. Может, их устроит аренда? И Юн Нурдистуэн заломил сумму, которую, как было очевидно, он сроду в руках не держал и держать не будет, и Хельге Хауге стало безумно обидно, что ничего не получается: то ли усадьба была чем-то особенно дорога Юну Нурдистуэну, то ли покупатель ему не пришелся по вкусу.

Нет, не для Хельге Хауге это дело — покупать усадьбу. Что он понимает в сельском хозяйстве? А за аренду ему предлагают выложить сумму, которая по карману лишь какому-нибудь директору Клагге-Пребенсену. Только сейчас Хельге Хауге впервые почувствовал, насколько велика разница между городом и деревней, между крестьянином и рабочим. Он пришел к Юну Нурдистуэну доверчивым ребенком, а уходил снова стариком.

И совершенно без всякой надежды, скорее для

¹ 17 мая 1914 г. Учредительным собранием в Эйдсволле была принята конституция, провозглашавшая независимость Норвегии. Этот день отмечается как национальный праздник.

очистки совести, он спросил, нет ли поблизости участка, который можно было бы купить или взять в аренду с тем, чтобы поставить собственную хибарку. И Юн Нурдистуэн прямо-таки подскочил на диване. Да, он сам только что отвел под участки большой кусок земли, а его брат Неймен занимается изготовлением сборных домиков, так что, если у Хельге Хауге есть желание, это легко устроить. На том и сошлись. Слабое, но все же утешение. Место тоже было красивое, хотя и не могло сравниться с тем, которое поначалу приглянулось им с Гюлле. Их воздушный замок разлетелся на мелкие части, однако теперь его составили заново и скрепили конторским клеем.

Они стояли друг против друга, Юн Нурдистуэн и Хельге Хауге, серп и молот, однако сходства между ними было не больше, чем между кукушкой и устрицей. Хельге Хауге все стало ясно. Деревенские жители никогда не признают его за своего, но, если он в порядке компенсации будет платить наличными и внесет десятипроцентный аванс, его, так и быть, допустят в специальную резервацию для туристов.

У Юна Нурдистуэна оказался дальний родственник, который летом возделывал землю, а зимой, оставив жену одну управляться с хозяйством, нанимался на завод в городе. Это и был Арне Бруа.

И вот он стоит перед Хельге Хауге. Специально выбрал время обеденного перерыва, чтобы застать его в бригадирской. Хельге Хауге безнадежно вздыхает. Какой этот Арне Бруа несообразительный. Молодой парень, он каждый раз, приходя за деньгами накануне субботней поездки в телемаркскую деревню, отрывает не меньше полу-

часа на свои извинения и всякие сплетни. Бывает, еще хвастает тем, что сидел в лиерском сумасшедшем доме, но вышел в полном порядке, у него есть справка.

Хельге Хауге говорил что-то Арне Бруа, не слыша собственных слов. Он испытывал острое чувство недовольства, которому не мог найти объяснения. Да, никакими комплексами этот Арне Бруа не страдает; Хельге Хауге даже покраснел от возмущения.

— Сколько с меня сегодня, Арне? — спросил Хельге Хауге, чтобы поскорее от него отделаться.

— Да как в прошлый раз, Хауге! — невозмутимо отвечал, потирая руки, Арне Бруа.

Хельге Хауге надел очки, достал чековую книжку и выписал чек. Затем он встал и протянул чек Арне Бруа; тот вежливо поблагодарил и, пятясь, исчез в дверях: отправился в банк получить наличность.

По радио передавали новости на саамском языке.

3

Хельге Хауге сидел, глубоко задумавшись. Он вспоминал рассказы старого Эйнара про военное время.

Отец Эйнара долгие годы плавал помощником капитана и из своего офицерского жалованья сумел кое-что отложить на черный день. Как у большинства моряков, поднакопилось у него и разных вещей со всех концов света, куда его забрасывала морская служба, и он был вполне обеспечен, когда, учитывая преклонный возраст и то, что он уже имеет за плечами одну мировую

войну, его в начале второй списали на берег. Однако Дед, как называл его старый Эйнар, не успокоился. На свои деньги он купил большущий крытый вельбот, вроде затем, чтобы на старости лет побаловаться рыбной ловлей, и давай перевозить в Швецию участников Соппротивления. В конце концов у него самого земля стала гореть под ногами, и он отослал семью в деревню к родственникам. И стоял у руля до последней минуты, когда вынужден был, спасая собственную жизнь, посадить суденышко на мель. А потом этот морской волк при штормовом ветре плыл несколько километров до берега и пробирался по дремучему лесу, прежде чем дошел до своих, в деревню.

Жили они тесно, место было только для одной коровы, а ее молока не хватало на семерых ребятишек и столько же взрослых, не говоря уже о том, что нужно было подкармливать городских родственников, которые с голодухи жевали подметки.

Рядом же, в соседнем дворе, было полно акрид и дикого меда. Там хозяин с хозяйкой жили в довольстве, имея четырех дойных коров и несколько десятков хороших несушек. И амбар с подполом были битком набиты зерном и картошкой.

Как Дед ни артачился, пришлось ему в конце концов идти на поклон, другого выхода не было. И вот стоит он на крыльце у этого самого Белсена и хочет купить продуктов: молока, масла, яиц, муки и сыра. Не сказать чтобы много просил, только ведь эти темные, не желающие видеть дальше собственного носа люди и корки сыра для мышеловки задаром не дадут. Им что война, что не война — все едино, и если Дед жметя с деньгами, то у Белсена и его жены найдутся другие покупатели.

— Да поверь, нет в доме больше денег! — сми-

ренно и униженно объяснял Дед. — Из вещей вот кое-что осталось. Если у тебя есть в чем нужда, может, согласишься на обмен?

— Пожалуй, сапоги резиновые, что на тебе, сгодились бы, — отвечал крестьянин, и тут только до старика в полной мере дошла вся мерзостность этого типа, этого самодовольного гада, который за всю жизнь только один раз выезжал из деревни, во Фредрикстадскую крепость, когда его призвали на военную службу. Важнее и интереснее этого события с ним ничего не происходило, а путешествие было тем более незабываемым, что место, доставшееся ему по бесплатному билету, оказалось против хода поезда, и его так замутило, что пришлось бежать в уборную блевать.

”Я, грешным делом, думал, досижу там аж до Рингерике!” — рассказывал сам Белсен перед войной.

Но была и другая история. Через оба участка, Белсена и Деда, протекал ручей, и в верхнем его течении, где жил со своей семьей Дед, было очень удобно соорудить запруду. В ручье водилась форель, которая в засушливое время года чуть не вымирала, и Дед сначала, на собственный страх и риск, починил развалившийся мостик, а потом надумал перегородить ручей и устроить пруд для форели. Эту его задумку и обсуждали они однажды, сидя во дворе у Белсена.

А Белсену как раз приглянулся электромотор в сарае у Фредриксена, и, коль скоро зашла речь о плотине и о пруде для форели, он потребовал его себе. И мотор перекочевал в сарай к Белсену, а Дед приступил к сооружению запруды. Но не успели зарядить осенние дожди, как Белсен смертельно перепугался, что вода прорвет плотину и

затопит его участок, и он, улучив момент, когда Деда с семьей не было дома, подложил динамит и взорвал плотину вместе с мостиком. Тогда-то и вскричал во всеуслышанье Дед: "Против глупости сами боги борются напрасно!"¹ И с тех пор между ними — холодная война, за что и заплатился Дед своими сапогами.

Однако сапог хватило ненадолго. Слишком много ртов было в Дедовой семье, и нужда снова погнала его уламывать Белсена.

— Помнится, видел я у тебя выходной костюмец, — сказал Белсен. — Если взамен перепадет кило масла, две дюжины яиц, несколько штук рождественских пряников и недельная порция молока, это ведь не слишком дорого, а? Да, и еще Эйна сделала целый чугунок замечательного козьего сыра, так, пожалуй, можно и сыру этого прибавить, если, значит, ты согласен расстаться со своим английским твидовым костюмом.

Пришлось отнести и костюм.

Старые моряки, объездившие весь свет, сходят на берег с богатым жизненным опытом и твердыми принципами, однако перед Белсеном Дед робел и терялся. Какое имело сейчас значение, что он бывал в гостях у чернокожих африканцев, что на Гавайских островах туземные девушки украшали его венками из цветов, какое имело значение, что он плывал за семь морей и посетил все порты мира? Деду нечего было противопоставить безудержной алчности Белсена, вот и приходилось безропотно отдавать последнее, чтобы не морить голодом семью. Этого он допустить не мог,

¹ Ф. Шиллер. Орлеанская дева. Действие третье, сцена шестая.

и отдавать последнее было для него так же естественно, как переправлять людей в Швецию, хотя от этих поездок он враз поседел. Война есть война!

Вначале он лишь посмеивался про себя над деревенским дурачком Белсеном. "Ну что с него взять? — говорил Дед. — Он вроде тех пресмыкающихся, которых мы видели на деревьях, когда плавали по африканским рекам. У него, Белсена, есть отчий край, это его родная страна, земля, на которой живут его близкие. А он знает одно: когда страну и народ постигает война или неурожай, делается туго с продуктами. Этого он и ждет, этого ему и не хватает для полного счастья. Тут он и подоспел со своим товаром".

Однако постепенно проявлять терпимость и иронически посмеиваться становилось все труднее. Он видел, как исчезают вещи вокруг. Картины со стен, шкатулки камфарного дерева с их неповторимым ароматом, все плоды его тяжелых трудов, все пережитые штормы и кораблекрушения — все пошло прахом, все было вынесено из дома.

Нет, так больше продолжаться не могло. Этот крестьянин истощил его терпение. И в приступе безумной, отчаянной ярости он пошел к Белсену, вызвал его на крыльцо и закричал:

— Ты, у которого нет ни малых детей, ни даже наследников усадьбы, отобрал все мое имущество в уплату за то, что у тебя самого в избытке! Кто ж ты после этого, человек или зверь? В стране война, голод, а ты с кривой ухмылкой обираешь своих братьев! Но я, Белсен, пришел не требовать свои вещи назад, а заявить о праве на кусок хлеба для себя и своей семьи!

И Белсен ответил.

Если Фредриксен смеет угрожать ему, так в кухне стоит Эйна, которая слышала все, что он наговорил. И Белсен не видит иного выхода, кроме как прибегнуть к помощи ленсмана.

И тут Дед последний раз в жизни ударил человека. Собрав остатки сил, он двинул Белсена по морде, и, когда Дед вернулся домой, все увидели, что он плакал. Три дня он провел в лесу, где обычно собирал хворост, и за это время не обмолвился ни с кем ни словом.

И что вы думаете? Белсен пошел-таки к ленсману, а ленсман был крупным нацистом, на совети которого лежало немало загубленных жизней. Его даже коллаборационисты и те побаивались. Но тут подоспел мир, и ребята из группы Сопротивления первым делом поставили отметину на воротах ленсманского дома. Однажды утром к нему постучали, и, когда ленсман открыл дверь, его застрелили на месте.

Дед прожил до осени сорок пятого и успел доискаться, с каких торгов Белсен продавал его вещи. Многие покупатели, оказывается, подозревали о том, что вещи нажиты не иначе как бесчестным путем, и потому добровольно объявились и отдали их. Покончив со всем этим, Дед однажды лег спать и больше не проснулся.

Считается, что мы ведем сельское хозяйство с расчетом на возможные кризисы и войны, рассуждал старый Эйнар. Но до чего мы его довели? Интенсификация покончила с мелким крестьянином, земля принадлежит теперь меньшему числу людей, и потому особенно наглядно проявляется право частной собственности, однако как отрасль экономики сельское хозяйство гроша ломаного не

стоит без нас, рабочих. Производство становится все более узкоспециализированным, поскольку его интенсификация способствует созданию капиталистической структуры. И с рыболовством мы поступили точно так же. Мы истребили мелкого рыбака, и вместе с ним исчезла рыба. А посмотрите на мясо и овощи! Все у нас теперь консервированное, все какое-то пресное и безвкусное, трава травой или мочало мочалом. А лет через двадцать—тридцать, когда люди напрочь забудут, какая она с виду, эта рыба, у нас исчезнет и название — рыбные котлеты, будет просто Корм, с порядковым номером после, чтобы не перепутать разные банки.

Мы — рабочие, нам нечем расплачиваться, кроме собственного труда, и своим трудом мы оплатили создание сельскохозяйственного производства, выпускающего сливочное масло, сыр, спиртные напитки, фасоль и помидоры, покупать которые нам не по карману, поскольку существует несоответствие между уровнем производства и ценами, то есть, как мы любим выражаться, разрыв между предложением и спросом. Сельское хозяйство находится сейчас в такой же ситуации, в какой находился частный сектор промышленности, пока государство не вынуждено было вмешаться и взять дело в свои руки. Полная бесконтрольность влекла за собой спекуляцию и беззастенчивую погоню за прибылью, что в конечном счете привело к краху. Теперь то же самое происходит с сельским хозяйством. Жареный картофель — чипсы — производится в таком количестве, что взрослые и дети просто объедаются им перед телевизором. И мягких сыров выпускается больше, чем нужно, исключительно ради того, чтобы поддерживать на завышенном уровне производ-

ство молока. Теперь роль играет не истинная потребность в продуктах питания, а наличие рынков сбыта. Возьмем ту же рыбу! Она идет не людям, а на корм скоту, в результате чего и рыба, и мясо дорожают. Это ничуть не лучше того, что в Бразилии сжигают кофе, в Америке сливают в реки молоко, а в Италии гноят на полях помидоры.

Но возьмем, к примеру, промысел сельди. В конце пятидесятых годов, то есть двадцать лет тому назад, в хороший сезон улов сельди в Северном море достигал двухсот пятидесяти тысяч тонн. А это, скажу я вам, по подсчетам специалистов, превышает все запасы сельди в этом море на сегодняшний день. Или посмотрите, как одна отрасль уступает место другой, новой, более доходной. Посередине нерестилищ сельди, скумбрии, камбалы и сайды растут нефтяные вышки, как в тридцатых и сороковых годах росли заводские трубы. Новый курс, новая попытка выйти из кризиса, новое разрушение. И тем не менее мы в глаза не видели ни одной кроны из этих нефтяных доходов. Не видели и не увидим. Эти деньги тоже исчезают, столь же бесследно, как рыба, и черт его знает, куда это все нас приведет!

Мы, рабочие, большинство из которых были раньше заняты в рыболовстве или на мелких фермах, теперь оказываемся не у дел. Какая разница, скажет кто-нибудь, работаем мы на фабрике рыбных котлет Бьелланна или на нефтепромысле, деньги-то везде платят одинаковые. Оно, конечно, так, мы на все сгодимся, особенно на то, чтобы загребать жар нашими руками и перебрасывать нас с места на место. Мы — барачная шваль, договорники, с которыми сами же призывали покончить каких-нибудь десять лет тому назад. У

нас тоже есть жены и дети, но они далеко от нас, а раньше пусть впроголодь, но мы жили под одной крышей. Теперь мы живем в отрыве от семьи, живем только ради полочки. И хуже всего сознавать то, что и эта лафа скоро кончится. Мы ведь кое-что соображаем и не можем не видеть, куда все идет. А тем временем народ продолжает стекаться на эту самую нефтедобычу, хотя понятия не имеет, чем это чревато. Все мы работаем на чужого дядю, работаем на чуждую нам систему, на те силы, которые испокон веков сводили на нет завоевания рабочих. И оттого, что сегодня мы вынуждены соглашаться на любые условия, мы заранее ставим в невыгодное положение наших потомков.

Я уже, ребята, не один год протрубил и могу сказать, что сам участвовал во многих событиях. Это были годы изобилия и годы великих побед, которые потом обернулись трагедией и поражением, поскольку мы исходили из ложных идеалов, ложных надежд, из обманчивого изобилия и абсолютно неверно понимаемой идеи социализма!

Да, в этом был весь старый Эйнар!

Познакомились они на Якобсеновской фабрике рыбьего жира. И в те времена жили они действительно бедно, питались в основном рыбой, а из рыбы попадалась больше селедка.

Почти все воспоминания детства были у Хельге Хауге связаны с рыбой. Ее ловили зимой, летом, осенью и весной, добывая пропитание с помощью удочки, верши, перемета, бредня, блесны, мережи, невода, вентера, яруса, волокуши и прочей снасти. А какие были запахи! От рук пахло

смолой, суриком, медузами, взморником, ламинариями, морской травой и солью, в кухне стоял дух от жареной скумбрии, ухи с нарезанной тыквой, свежесваренной трески, копченой форели и совершенно неповторимый аромат крабов и мидий. А мать виделась ему в воспоминаниях рядом с горой рыбы, которую предстояло чистить, солить, коптить, мариновать, провертывать на котлеты и запеканки. Казалось, все дары моря проходили через ее руки, через их домишко на берегу.

Да, рыба помогла им выжить. Потому что, как бы плохо ни обстояли дела, всегда можно было найти пищу на дне, вдоль прибрежных камней, вокруг шхер и островов, в фьордах, заливах, ручьях и реках. На глубине в полметра или в сто саженей. И вся эта рыба только и ждала, когда ее подденут на крючок с насаженной мидией. А прошлой осенью им с трудом удалось раздобыть свежую сельдь на маринад.

Зато у Якобсена сельди хватало. Там ее было по уши, сплошная сельдь с утра до вечера и с вечера до утра. А вонь там стояла похлеще, чем в трехсотлетнем склепе, и жара была чудовищная, и рыбий жир клокотал в громадных чанах, брызгаясь в разные стороны, как масло на сковородке. Условия работы на фабрике рыбьего жира максимально приближались к условиям ада, по крайней мере каким его представляет себе весь христианский мир.

Со старым Эйнараром Хельге Хауге свел несчастный случай, когда сломались подмости и двое рабочих упали в чан с кипящим жиром. Эйнар был человеком с опытом, а Хельге Хауге лишь недавно приступил к работе. Душераздирающие крики тех двоих невольно напомнили Хельге Хауге ското-

бойню, и он впервые почувствовал острое нежелание бросать живых крабов в кипяток, как это принято делать. Рабочие, можно сказать, обжарились, прежде чем их успели выловить, и на Хельге Хауге еще много дней находили приступы рвоты, поскольку вылавливать их как раз и пришлось ему со старым Эйнаром. У других просто ничего не получалось, их тошнило, их нужно было выводить на улицу, потому что запах горелого человеческого мяса ударял им в голову, они точно сходили с ума и орали благим матом. А новичок Хауге держался, и затошнило его только поздно вечером, по дороге домой. А тогда он встал рядом с Эйнаром и сделал свое дело. Кому-то ведь нужно было взять это на себя.

Надо так надо.

Когда появился врач, он прямо-таки остолбенел от того, что предстало перед ним за воротами Якобсеновской фабрики рыбьего жира.

Условия действительно были жуткие, так как Якобсен ни во что не ставил жизнь и здоровье рабочих. От грязи и вони даже у видавшего виды сельского врача перехватило дыхание.

— Так продолжаться не может! — закричал он, обращаясь к онемевшим от страха рабочим, которые стояли разинув рты, не в силах сдвинуться с места. Они смотрели вокруг безумными глазами, поскольку знали, что на месте товарищей, скрюченные тела которых лежали перед ними на полу, вполне мог оказаться любой из них. Они думали о своих женах и детях, и у них по коже пробежал мороз. — С этим пора кончать! — снова закричал доктор. — Кто-то должен вмешаться и не допустить нового несчастья.

Так появилась официальная жалоба, которая

своим чередом дошла до Якобсена. Однако он рассудил по-своему. Если кто и виноват, то отнюдь не фабрика, а сами рабочие. И вот не прошло и нескольких дней, как по всем стенам были расклеены новые "Правила внутреннего распорядка на фабрике рыбьего жира А. П. Якобсена". В них говорилось:

1. На территории фабрики запрещается всякого рода политическая деятельность.

2. Рабочие обязаны проявлять почтительность и уважение к начальству.

3. Рабочие обязаны являться на фабрику в опрятном и аккуратном виде. В противном случае они будут считаться неблагонадежными.

4. Рабочие обязаны оставаться патриотами своего предприятия также и за его пределами.

5. Предприятие не несет ответственности за здоровье и благополучие рабочих за его пределами.

— Да это почище катехизиса Понтопидана¹! — вскричал Эйнар. — Он, видите ли, хочет, чтобы мы являлись на его помойку свежесбрившими. Какая наглость! Объявляем забастовку, товарищи!

Удивительное слово — забастовка...

Кажется, одно это слово способно перевернуть мир.

И Эйнар пошел к Якобсену в качестве руководителя забастовки и предъявил ему изложенные в письменном виде требования рабочих. Даже не

¹ Имеется в виду учебник богословия датского теолога Эрика Понтопидана (1698—1764), которым широко пользовались в норвежских школах в XVIII—XIX вв.

надев очков, А. П. Якобсен ответил:

— Ты, Эйнар, сказал какую-то ерунду насчет того, что, мол, без вас, рабочих, Якобсену не справиться. Изволь получить расчет. И проваливай куда подальше! А появишься на фабрике еще раз, пеняй на себя: вызову полицию. Ясно?

В тридцатые годы разговаривали без церемоний. Хельге Хауге не уволили. Он ушел сам.

— А у тебя разве есть другая работа, Хауге? — удивился Якобсен. Тогда еще были трудные времена для простого народа. Выбирать особенно не приходилось.

— Нет! — резко и решительно отвечал Хельге Хауге, понимая, что только таким способом можно хоть немножко пронять бесчувственную натуру вроде А. П. Якобсена. И надо сказать, этот жестокий эксплуататор опешил, и его красивое лицо с очками в золотой оправе приобрело совершенно идиотское выражение. Хельге Хауге улыбнулся. — Но я лучше с голоду помру без работы, чем буду ишачить на вас за жалкие гроши, которые вы платите своим рабочим.

Слова попали в цель. Нападение застало Якобсена врасплох: он был уверен в собственном превосходстве и считал себя неуязвимым. Давид одолел своего Голиафа. А. П. Якобсен, который привык к уважительному обращению, которого никто не смел пальцем тронуть, вдруг схлопотал по физиономии и сидел красный как рак.

”Даже смотреть противно, — думал Хельге Хауге, молодой, крепкий, здоровый. — Его ничего не стоит раздавить как козявку!”

Якобсен, откашлявшись, произнес:

— Ты, Хауге, парень хваткий, можно и накинуть тебе несколько эре в час...

Однако Хельге Хауге не дал фабриканту договорить.

— Я уже все решил, — гордо и прямо заявил он. — И пришел просить расчет.

Но тут в А. П. Якобсене проснулось бешенство. Он уже оправился от первого потрясения, и лицо его из красного стало белым, как стена.

— Надо же быть таким наглецом! Можешь получить свой расчет, Хауге, и катиться отсюда.

Хельге Хауге, совсем еще молодому тогда человеку, эта беседа доставила истинное наслаждение.

Он ведь без зазрения совести врал Якобсену. Другая работа у него была. Или почти была. Эйнар прислал ему письмо, в котором говорилось, что если он поторопится, то может получить место на плавучей фабрике по переработке китов.

Так Хельге Хауге попал на китобойный промысел.

И двое закадычных друзей сезон за сезоном плавали вместе. Однако Эйнар и на море, так же как на суше, нажил себе неприятности из-за политической деятельности. Он пытался объединить ребят в профсоюз, а в те времена это воспринималось как выпад не только против непосредственного корабельного начальства, офицеров, но и против судовладельческой компании, предоставлявшей им всем работу. Более того, подобное требование на борту норвежского корабля расценивалось тогда как посягательство на "свободу во всем западном мире". Моряки ведь принадлежали к людям избранным, свободным, к людям, у которых была возможность работать сколько душе угодно, получая вознаграждение в виде норвежских крон. Подобное требование могло иметь

далеко идущие последствия. Это было недопустимо.

И в следующий сезон Эйнара обошли. Его не взяли на "разделку", где ребята зашибали самые большие деньги, а снова отправили в кочегарку, гнуть спину в поту, копоты и пыли. Он вернулся к тому, с чего начал, а Хельге Хауге по-прежнему работал на палубе. Вот почему в тот сезон друзья виделись редко. Ведь китобойный промысел — это полгода работы на износ, с перерывами на еду и несколько часов сна, под утро, не раздеваясь.

Дело кончилось тем, что еще через год Хельге Хауге готовился к выходу в море один.

— А ты разве не пойдешь? — спросил он друга.

— Нет, не пойду, — отвечал Эйнар с ненавистью в глазах. — Меня занесли в черные списки и не берут.

Оба помолчали.

Хельге Хауге было жаль хорошего товарища, и он чувствовал себя неловко: он, юнец, уходит на промысел, а Эйнар, человек, обремененный семьей, детьми, остается на берегу без работы.

Но объяснялось это тем, что Эйнар уж очень отличался от других ребят на корабле. Он не пил, поэтому его считали скуповатым, и не играл в покер, поэтому его считали верующим. Зато он много говорил об эксплуатации рабочих и об истреблении китов. Этим-то он и выделялся. И очень сильно.

Вот почему Эйнара не взяли на промысел.

Но он ожесточился и не скрывал этого. Он прекрасно понимал, что значит в эти скудные времена остаться зимой без работы. Впрочем, он ведь может ловить рыбу!

— Сказать по правде, от китобойного промыс-

ма и превосходства одной нации над другими. Он лишь сталкивался с военной машиной, похожей на ту, частью которой являлся он сам, он видел молодых солдат, похожих на него, солдат, которые любили футбол и предпочитали безвредный кожаный мяч восьмидюймовым снарядам, зажигательным бомбам и торпедам, начиненным тонной тротила. А один из подобранных фрицев даже знал по фамилиям всех участников сборной Норвегии на Олимпиаде тридцать шестого года.

Вот и получилось, что Хельге Хауге вернулся домой после окончания войны глубоко разочарованным. Как и многим другим, кто шел на борьбу с верой в правоту своего дела, ему казалось естественным после германской капитуляции атаковать франкистскую Испанию и освободить сотни тысяч партизан. Поговаривали, что этот план поддерживали Сталин и Трумэн, но Черчилль, заручившись поддержкой французов, выступил против. Категорически против!

— Когда мы ходили в конвое, нас три раза торпедировали. Мы плавали в горящем бензине и масле, а немцы, поднимаясь на своих подлодках, в упор расстреливали нас, потому что им не хотелось брать пленных. Я мог погибнуть ни за что ни про что, как многие другие.

Хельге Хауге теперь казалось, что его добровольное вступление в ряды британского флота было шагом наивным и даже почему-то унижительным, он стеснялся и самого участия в войне, и внушительного набора медалей за храбрость, пожалованных ему королем. Вот почему Хельге Хауге предпочитал отмалчиваться, если речь заходила о войне.

Но об отношениях между рабочими и крестья-

нами они со старым Эйнарсом могли говорить без конца. Оба негодовали по поводу сельскохозяйственной политики Норвежской рабочей партии¹, и в их разговорах нередко проглядывала укоренившаяся неприязнь ко всем, кто был связан с землей и собственностью и стоял вне производства в том виде, в каком его понимают рабочие; всем этим людям с их окороками, колбасами и священными коровами нередко крепко доставалось. Впрочем, со временем оба стали посмеиваться над этим. Они ведь тоже за свою жизнь обросли кое-каким имуществом. Но избавиться от бывшей враждебности они так до конца и не сумели. Старый Эйнар завершил дискуссию суждением, возможно, излишне резким и безапелляционным, зато выразительным и метким:

— Крестьяне! Засади бы я этих крестьян на пару недель в бортовую цистерну! А наши ребята пусть бы для разнообразия поторговали на рынке клубникой. В Китае, говорят, такое практикуют.

И, поразмыслив над этими словами и тоном, каким они были сказаны, Хельге Хауге вынужден был согласиться, что не так уж они абсурдны. Скорее наоборот. Особенно принимая во внимание субсидии на сельское хозяйство и то, сколько рабочей крови вложено в помидор.

Вспоминали они со старым Эйнарсом и китобойный промысел. Обычно во время охоты старались сначала пристрелить детенышей: тогда самка подпускает к себе очень близко. Но однажды случилось наоборот. Они прикончили мать, и

¹ Социал-реформистская партия, почти неизменно возглавляющая норвежские правительства.

детеныш не знал, куда деваться от горя и отчаяния. Киты ведь проявляют свои чувства, или, если хотите, инстинкты, явно и открыто.

— Помнишь, Хельге, когда его мать подняли на палубу, китенок подплыл к судну и начал тереться о борт, точно ласкаясь, потому что принял корабль за мать?

Китобойный промысел оставался для старых друзей незаживающей раной и неким символом.

4

Сейчас ведутся работы на трех эллингах.

А также на четырех стапельных площадках и в новеньком плавучем доке, в котором запросто помещается корабль дедвейтом в сто пятьдесят тысяч тонн.

Построили этот док еще в хорошие времена. Теперь же над норвежской судостроительной промышленностью сгустились тучи, и такого супертанкера на верфи и в глаза не видели.

Куда там, сплошь и рядом расторгаются уже заключенные контракты. Причем контракты миллиардные, которые обеспечили бы предприятие работой на десять — пятнадцать лет вперед. Осенью семьдесят пятого дела шли из рук вон плохо, и перед самым Новым годом еще не было известно, найдется ли работа на этот год. К счастью, подвернулись контракты на газовые танкеры. Правда, когда заказы будут оплачены, эти гигантские суда встанут на прикол, поскольку добыча газа в Северном море никак не развернется по-настоящему, однако без них верфи пришлось бы закрыться. Это уж точно!

Хельге Хауге идет мимо небольшого сухого до-

ка. Его построили для ремонта военных кораблей немцы, и в 1945 году он считался одним из крупнейших доков в стране: в нем помещались суда грузоподъемностью до двенадцати тысяч тонн. Сегодня он наглядно демонстрирует смехотворность масштабов того времени.

Но спросите моряка, конечно бывалого моряка, проплававшего по меньшей мере лет двадцать, какие суда он предпочитает? С обычной надстройкой посередине корабля или с башнеобразной рубкой на корме? Нравится ему судно крупнотоннажное или тысяч эдак на десять? Нет, все-таки раньше профессия моряка была овеяна романтикой, она манила и притягивала этим. Тогда про самого паршивого юнгу рассказывали истории, слагали легенды, пели песни. И в портах всего мира девушки читали газеты только ради того, чтобы узнать время захода очередного корабля. А если сами не умели, то просили кого-нибудь. И потом девушки выстраивались на пристани, с развевающимися на ветру шарфами и со слезами радости на глазах, размягчая и обольщая сердца сладострастных моряков, и только успеют приставить сходни, как все уже разбрелось по знакомым и любимым кабачкам и прихорошившимся публичным домам. Ничего не скажешь, в те времена на кораблях жили весело, на широкую ногу. Сегодня же корабль — это плавающий сумасшедший дом, психбольница, где и понятия не имеют ни о какой романтике.

На стапеле внизу стоят рядом три "снабженческих" судна. Они поступили для ремонта, в одном из них ковыряются около гребного винта трое рабочих. Крохотные суденышки, а мощность — несколько тысяч лошадиных сил.

— Да этот вал, черт возьми, с места не сдви-

нуть! Пригорел, будто и не вертелся никогда! В жизни такого не видал! Не стронуть его! — кричит один из рабочих в ответ на вопрос Хельге Хауге, в чем дело.

”Опять та же история, — думает он. — Загублены дрефтерная сеть и оборудование траулера стоимостью в сотни тысяч крон, и все из-за нейлонового троса, намотавшегося между гребным валом и винтом: начинают плавиться подшипники, их заклинивает, и все стопорится. Кусок обыкновенного троса останавливает мотор чудовищной мощности. Суда снабжения! С виду неказистые, но в данный момент основной доход приносят именно они. Зато эти скорлупки — злейший враг рыбного промысла. Никто не демонстрирует своего презрения к рыбакам столь открыто и непримиримо, как эти посудины. Они — символ нефтеразработок, их истинное лицо. Сами небольшие, а вреда от них много. Крохотные военные корабли, они ведут невидимую с берега войну. Войну, в которой море обречено на поражение”.

Хельге Хауге присаживается на штабель трехметровых досок, приготовленный бригадой грузчиков для переброски на судно. В ожидании, когда заработает кран, грузчики курят. Хельге Хауге отрезает себе табак и садится нога на ногу.

Внезапно он переносится мыслями на ипподром. Лошади, зал тотализатора, люди, спешащие делать ставки, гул голосов, очереди в разные окошки, вывески: Одинар, Двойной, 5 кр., 10 кр., 50 кр., и азартная игра в пятерном одинаре, и табло с указанием шансов, а также результатов, мест, резвости. А на кругу бегут лошади, и народ напирает на барьер, чтобы лучше видеть финишную прямую. Проездка, вызов на старт — и кто-то

сбивается сразу после звонка, по радио объявляют о снятии с заезда. Обычная ипподромная музыка. Чеканит шаг духовой оркестр, и наяривает аккордеон. Особенно благотворное воздействие оказывает вальс — и на рысаков, и на зрителей, жующих сосиски и запивающих их бульоном, таким горячим, что тонкий пластмассовый стаканчик обжигает руки. А пока ты отвлекся на кружку пива и мясное рагу, у фаворита сбой, и вперед неожиданно выходит аутсайдер, который, вырвавшись на большой просвет впереди остальных, выигрывает. Тогда шансы растут в десять, пятьдесят, сто, а то и в пятьсот или даже больше раз, и в публике слышится громкий вздох: все, кто ставил на фаворита, выбывают из игры, и тысячи билетов в пятерном одинаре идут в корзину, а с ними и тысячи поставленных крон. Зато это означает, что победителей ждут крупные выигрыши. Счастливики — те немногие, кому в последнюю минуту с конюшни подсказали, что кобыла по кличке Дрангедалсьмерра снова находится в хорошей форме и включена в заезд номер три.

Что уж говорить про того ловкача, который забрал котел в этом заезде! Поставил на кобылу сотню, а нажил во много раз больше.

— Результаты третьего заезда. Победила кобыла под номером семь, Дрангедалсьмерра. Ее результат 1 минута 35,7 секунды. Второй пришла...

— Результаты третьего заезда. Выдача четырехста пятьдесят за одну. Выплаты в одинаре составляют 225 крон на ставку в пять крон, 450 — на ставку в десять крон и 2250 — на ставку в пятьдесят крон...

А правильно угадал только один этот тип, который и получает свои 4500 крон.

И такой человек от щедрот своих угощает пивом всех сидящих за столом, его называют "счастливымчиком" и "баловнем лошадей". Однако игрок очень редко остается доволен выигрышем. Обычно он клянет себя, что поставил слишком мало. Ему бы, дураку, поставить не сто, а тысячу!

Но так всегда и бывает. Наездник, который совершенно неожиданно вырывает победу на темной лошадке, оказывается, не поставил на себя. Победителей остальных четырех заездов он угадал, а вот в собственном промахнулся. Он фактически взял котел, но выдача в пятерном идет за четыре правильных, и выигрыш приходится делить еще человек на десять.

На бегах-то Хельге Хауге и повстречался после тридцатилетней разлуки с Юном Датчанином.

Когда-то они вместе росли, вместе учились в школе и готовились к конфирмации, вместе впервые сошлись с девочками в лесу за Рамбергским мысом — их тогда уж очень распалил бык, которого они увидели в стойле с коровой. Юн рано ушел в море, и с тех пор Хельге Хауге не видел его и не получал от него писем.

Зато он много слышал о нем. Ходили слухи об искателе приключений Юне, который после войны пожаловал в родные края на небольшом судне с грузом дренажных труб, водки, сигарет и датской копченой колбасы. Корабль был его собственный. Купленный им, Юном Хансеном. Он положил начало маленькой, но многообещающей судовладельческой компании.

Рассказывали и про элегантную даму из Осло, приезжавшую полюбоваться, как Юн стоит на молу в лихо сдвинутой набок капитанской фуражке и с засученными рукавами. Несколько лет эта

красивая богатая дама была его женой. Впоследствии их брак распался. По слухам, элегантная дама происходила из семьи *настоящих* судовладельцев и деньги на Юново суденышко дала она. Однако Юн, не заплатив взносов по страховке, прикарманил часть денег и купил на них водки с сигаретами, а затем попал у берегов Ютландии в шторм и не нашел ничего лучше, как посадить судно на мель. А плавать этот моряк и капитан не умел. После нескольких дней томительного ожидания и его самого, и трех матросов сняла с корабля береговая охрана. Судно же разломилось пополам и затонуло вместе со всем товаром. Юн обанкротился, и, говорят, его разыскивала полиция по поводу мошенничества со страховкой, поэтому он отправился на Аляску ловить семгу. Из-за этого позорного кораблекрушения у берегов Дании, объяснявшегося, как считали все, исключительно водобоязнью Юна и его никудышними познаниями в морском деле, к нему и прилипло прозвище Юн Датчанин. Однако многим, в особенности спившимся военным морякам, не доставало дешевой водки и дешевых сигарет Юна, а хозяйки еще долго вспоминали его чудесную копченую колбасу.

Юн, стало быть, промышлял на Аляске семгу. Люди знающие говорили, что он еще приторговывает золотишком и вновь пошел в гору. Он поднакопил долларов и мог теперь подумать о возвращении домой, чтобы отвоевать свою принцессу, поразив ее бойкой аглицкой речью.

И вот Юн вернулся — как и прошлый раз, в капитанской фуражке и стоя у руля роскошной яхты. Тридцатитрехфутовой прогулочной яхты с красными, зелеными и белыми фонариками на мачте.

Пришвартовавшись у нового городского причала, он был радушно встречен старыми знакомыми, хотя на этот раз прибыл без водки и колбасы, зато в шикарной одежде и с накладкой в волосах для прикрытия лысины. Всем казалось особым шиком то, что накладка сильно отличалась по цвету от его собственных волос.

Подвернувшихся ребятишек отрядили с деньгами в бакалейную лавку Сундала за двумя ящиками пльзенского и за мороженым на всю "постреляцкую братию", как выразился Юн.

Когда пиво и мороженое были доставлены на яхту, достопочтенные гости, напившись до чертиков, стали горланить песни. Затем послали за "Святым Хансом", местным чудаком, который исполнял псалмы в честь усопших и непристойные песенки для простого народа. В тот вечер он демонстрировал свое акробатическое искусство, в основном стоя на руках, и пел про кока, приложившегося задом к раскаленной печке в камбузе. Наконец все угомонились и заснули.

Наутро взорам первых зевак, пришедших спозаранку полюбоваться на Юнову красавицу яхту, представилось занятное зрелище. Яхта в самом плачевном состоянии дрейфовала посреди залива, а на крыше ее маленькой каюты стоял Юн и кричал, что яхта того гляди затонет, а он не умеет плавать в отличие от этих мерзавцев, которые уже давным-давно сбежали на берег и теперь отсыпаются после вчерашней попойки в собственных постелях.

Снарядили катер, и Юна вместе с яхтой отбуксировали к берегу. Кто-то предложил сразу вычерпать из нее воду, однако ни у Юна, ни у кого другого не нашлось для этого сил. И прошел еще це-

лый год, прежде чем Юн громогласно объявил: кто вытащит яхту на берег, тому она и достанется! Несколько человек скинулись и наняли трактор. После чего, прикрепив канат к подгнившему носу, они разнесли корабль в щепы. И Юн разрешил пустить яхту — которая, кстати, называлась "Евой", — на праздничный костер в канун иванова дня.

Однако Юн не сдавался. Каждый год он покупал новое судно, хотя каждая "яхта", которую он приводил в фьорд, в скором времени оказывалась на дне; но покупки торжественно отмечались и привлекали к нему всеобщее внимание, а Юну это нравилось больше всего на благословенной земле нашей.

Впрочем, знатокам все становилось ясно с одного взгляда на Юновы приобретения. Это были дышавшие на ладан посудины, без единой крепкой доски, без единого крепкого паруса, каната или гвоздя, посудины, обреченные развалиться после первого же плавания. Но Юн и не рассчитывал на большее. Он покупал суда за бесценок, чтобы позабавить представлением на американский манер тех, кого он называл "кучкой безобидных ротозеев". Каждый получал свое, и каждый оставался доволен. Теплую компанию вокруг стареющего Юна притягивали и туры на колесах, которые он умел разводить, и выпивка, которая у него всегда находилась. Особенно последнее.

Но на что, спрашивается, жил старина Юн?

Поговаривали, что он таки сколотил себе на Аляске капиталец и до сих пор безбедно живет на него. Другие утверждали, что он занимается маклерством на бегах и зашибает неплохую деньгу. Но ходили слухи и того хуже: будто он просто-напросто живет за счет отца, восьмидесятипятилет-

него старика, который всю свою жизнь прослужил на почте и теперь получал от государства хорошую пенсию. Однако это отрицал прежде всего сам Юн.

Прикидываясь шутом, Юн был тем не менее малый не промах и подрабатывал, где только придется. Например, видели, как он вечером торговал на улице морожеными крабами. Рассказывали, что у него была небольшая строительная фирма под названием "Город и деревня".

В общем и целом Юн как будто жил неплохо, и ему даже нравилось, когда о нем распространялись самые нелепые, оскорбительные слухи.

У Хельге Хауге каждая история про Юна Датчина, доходившая через кого-нибудь из знакомых, вызывала улыбку. Он знал Юна с тех пор, когда оба они были лихими сорванцами, которым все нипочем. И Юн уже тогда всем давал сто очков вперед. Никто ему и в подметки не годился!

И вот они столкнулись друг с другом после очень долгого перерыва. Хельге Хауге мгновенно узнал Юна и окликнул его, а тот, обернувшись, сразу понял, что через три человека от него стоит в очереди к кассе его друг детства Хельге Хауге.

— Да неужто это Хельге? Как живешь-можешь? Я ведь тебя и не признал сразу. Просто глазам своим не поверил!

— Такая наша жизнь. Летит времечко, — невозмутимо отвечал Хельге Хауге.

— Слушай, Хельге, сейчас делаем ставки, а потом заваливаемся в кабак пропустить по маленькой, договорились?

И они пошли в ресторан, и взяли рагу и пива, и стали вспоминать былые деньки, "когда земля была кругла и травка зелена для всех", как поет-

ся у Прёйсена¹, сказал Юн и добавил несколько фраз на своем роскошном английском.

— Мы катимся назад, Хельге! — решительно заявил он. — Наш милый сердцу уголок испоганили коты. Теперь здесь воняет.

Хельге Хауге несколько удивили такие речи в устах Юна, которому вроде грех было жаловаться, поскольку он-то своего никогда не упускал. Ему стало интересно, что еще скажет Юн, и он сидел, расплывшись в улыбке, и слушал, не перебивая и не цепляясь понапрасну. Юн продолжал:

— Да-да, я был разочарован, когда вернулся домой. Ты, может, слышал, я несколько лет провел на Аляске. Жил и на побережье, и в самой что ни на есть глуши и, по-моему, получил представление обо всем: и о местах заезженных, и о тех, куда, кроме индейцев, никто не заходит. Понимаешь, Хельге, там от всего веяло удивительной прелестью и чистотой. От воды, от воздуха, от лесов, от рыбы, даже от хищных птиц и диких зверей. И поэтому мне было там легко и уютно. Так же, как в нашем родном городке, когда мы были маленькими. Тогда все тоже было чистым, и лебеди заплывали аж до самого моста у Келабингена, рядом с Мелвинсеном. Помнишь? И вот я приезжаю домой и окунаюсь в это дерьмо! Конечно, для человека, чуть не полжизни проведенного вдали от родины, многое оказалось неприятным сюрпризом. Куда делся военно-морской флот? Его нет. А китобойные суда? А рыбные тефтели? Их тоже нет. Они ушли в прошлое. А селедка и скумбрия? А

¹ Алф Прёйсен (1914—1970) — норвежский писатель, известный также как автор и исполнитель популярных песен.

крабы, омары и камбала, которых мы вылавливали тысячами? Наконец форель, которую мы хватали голыми ручонками, а, Хельге? Ничего этого больше нет! Только неприхотливые угри из Саргассова моря не поддались всяким отходам производства, стиральному порошку и удобрениям, которые тоннами, как по конвейеру, спускаются в реки. Даже искупаться в море и то стало невозможно, Хельге!

Последнюю фразу Юн произнес на крике, и тут Хельге Хауге заметил, что за соседними столиками тоже с интересом слушают разглагольствования Юна. И ему было приятно, что Юнова убежденность и прямота производят впечатление на публику. Нет, в этом Юне определено что-то было. Что-то необыкновенное, свойственное людям, умудренным опытом, поездившим по свету. Он выделялся и своим лицом, выражение которого поминутно менялось в зависимости от того, что он рассказывал, и золотыми коронками среди гнилых зубов, и смешной накладкой, не подходившей по цвету к его собственным поредевшим волосам. Он, конечно, постарел, но этого не удастся избежать никому. И тем не менее его ясные голубые глаза горели воодушевлением. Нет, жизнь не обломала Юну бока, его не укротили ни годы странствий, ни годы, проведенные в родных краях.

— Дай-ка я взгляну на твои билеты, Хельге! — вдруг сменил тему Юн.

Хельге Хауге вытащил билеты, протянул их Юну. Бросив на них беглый взгляд, Юн сказал:

— В пятерном ты поставил просто здорово, Хельге! Откуда ты знаешь толк в лошадях? Ты ведь не ошиваешься здесь каждый день, как некоторые. Да у тебя, черт возьми, шансы лучше моих,

хотя ставки почти вполовину меньше. Ты сорвешь куш, Хельге. Как пить дать, сорвешь!

— Да что ты, — начал отнекиваться Хельге Хауге. — Я, правда, регулярно покупаю беговой журнал и программы, стараюсь держаться в курсе новостей. Но куш я не сорву. Мне не везет. Поэтому я играю по маленькой. Выигрывать не выигрываю, а хожу на бега, потому что мне здесь нравится.

Юн отдал Хельге Хауге его билеты и поднялся из-за стола.

— Мне тут надо кое-что уладить, Хельге. Ужасно рад был тебя встретить и надеюсь, мы скоро увидимся снова. Меня найти раз плюнуть. Эвреволл, Клостерскуген, Ярлсберг, Бьерке¹. Если не там, то дома. Я ведь еще приглядываю за стариком отцом, который несколько зажился на этом свете. Его, видишь ли, одолели заботы, и он никак не соберется отбыть в мир иной. Я уверен, он нас всех переживет. Ну пока, Хельге! Счастливо!

Они пожали друг другу руки, и Юн исчез в гудящей толпе столь же внезапно, как и появился.

А Хельге Хауге сошел в зал тотализатора посмотреть результаты. За разговорами они пропустили по крайней мере два или три заезда.

И вдруг его охватило чувство одиночества. Ему стало одиноко оттого, что, едва повстречав школьного приятеля, он вынужден был с ним расстаться. Их связывало детство, а это очень много для пожилых людей, подводящих итог собственной жизни, пытающихся уяснить для себя, чего в ней было больше, хорошего или плохого, прежде чем, как говорится, отдать концы. Если не хитрить с самим

¹ Названия наиболее известных в Норвегии ипподромов.

собой, старость — это одни страдания, рай безвозвратно потерян. И Хельге Хауге, и Юн Датчанин потеряли свой рай, а воспоминания о прекрасном всегда мучительны, так как они всего лишь воспоминания, бесплотные и неуловимые, и не могут соперничать с реальной действительностью.

Умирать никому не хочется.

Всем хочется жить.

Хельге Хауге сидел на груди досок, теперь уже не нога на ногу, а опираясь локтями о колени и подперев руками голову. Он смотрел вниз, на землю, но ничего не видел, потому что глаза его вдруг застлали слезы.

Ему вспомнилась песня: он часто пел ее Бьёрну и Эрне, когда они были маленькими. Песня про девочку, которую разбил паралич и которая не могла ходить, но мечтала когда-нибудь поправиться. Как ни странно, ему запомнились только один куплет и припев, но и они растрогали его до слез, и он не мог сдвинуться с места. Он весь обмяк. Его точно самого разбил паралич. А девочка снова и снова заводила свою песенку:

Не плачьте же по мне,
цветоченьки в окне,
мы вместе погуляем,
как я выйду, по земле.

Там, куда меня мечты уносят,
незабудок и фиалок цвет.
Там в лугах для наших игр раздолье,
и встречаю я среди роз рассвет.
Теплой ночи слышу нежный шепот,
вижу небо синее над головой.
Там, куда меня мечты уносят,
где хочу гулять всегда с тобой.

Ничто не кажется таким маленьким по сравнению с гигантскими подъемными кранами, их тысячетонными остовами из чугуна и стали, по сравнению с секциями, подготовленными для монтажа в раскрытых пастях корпусов, которые стоят на эллингах, в доках и на стапелях с неподвижностью тяжелых металлических конструкций, ничто не кажется таким жалким рядом с этими сооружениями, на фоне этого индустриального пейзажа, как люди. И с высоты в двадцать пять метров, на которой находился в своей кабине крановщик Педерсен, пришедший переправить на судно штабель досок, Хельге Хауге вполне мог сойти за тень.

Однако крановщики обладают острым, как у орла, зрением, и это иногда приходится кстати. Рука у Педерсена была твердой, как рука хирурга. И вот высоко над его собственной головой длинная стрела крана выпустила стальной трос с крюком весом в триста килограммов, способный поднять груз в пятьдесят тысяч тонн. Педерсен ухитрился опустить крюк к самому носу Хельге Хауге и еще погудел для верности, чтобы пробудить его к жизни. Грузчики, уже потушившие свои сигареты, смеясь закричали: "Берегись!", и Хельге Хауге поднялся и, не говоря ни слова, ушел.

Он по-прежнему был на ипподроме.

Юн тогда сыграл с ним шутку. И он до сих пор не понял, хорошая это была шутка или плохая, был это злой розыгрыш или милый привет от большого плута и самодура, или это было просто недоразумение, нечаянный поступок без какого-либо умысла, задней мысли. А произошло следующее: когда Хельге вытащил свой билет в пятерном одинаре, он тут же увидел, что билет чужой, очевидно Юнов. Он вспомнил и как Юн расхвали-

вал его билет, утверждая, что он скорее всего загребет кучу денег. Неужели этот мошенник подменил билет, чтобы перехватить пару лишних тысяч? Неужели Юн и впрямь такой негодяй? Хельге Хауге даже покраснел. Ему стало обидно, что его обвели вокруг пальца. И куда, к черту, подевался этот Юн? И почему он так подозрительно торопился?

Посмотрев на табло результатов, Хельге Хауге, к своему величайшему удивлению, обнаружил, что на билете, который он держит в руках, правильно определены победители первых четырех заездов. Оставался еще один, последний заезд, который должен был начаться через несколько минут.

Он бросился искать Юна. Нужно сообщить ему, что его билет почти выиграл, что остается последний заезд и что фаворит Росина, которая последнее время выступала без сбоев, наверняка выиграет и на этот раз. Но Юна нигде не было видно. Юн пропал. То ли он смылся и таким образом обманул сам себя, то ли по какой-то необъяснимой причине нарочно отдал свой билет Хельге Хауге и потому-то и покинул старого приятеля под предлогом, что ему нужно кое-что уладить?

Сжимая в руке билет, Хельге Хауге сошел вниз и пробился к барьеру. Лошади уже приготовились бежать.

Когда они взяли старт, Хельге Хауге затаил дыхание. Росина шла под седьмым номером, в невыгодном положении, и всю первую прямую и поворот, естественно, сильно отставала, однако уже на выходе из поворота наездник вывел ее в поле и ослабил вожжи, посылая быстрее. Росина рванулась вперед, обогнала всех, кроме возглавлявших заезд

номера пятого, по кличке Юстердальсрупа, и номера первого, по кличке Фенга, и заняла удобную позицию на бровке. Наездник Улф Туресен теперь явно сдерживал ее и ехал свободно, складывая езду, как хотел. Хельге Хауге с удивлением отметил, что Юн прекрасно застраховался. Он поставил и на пятый, и на первый номер. Заезд был фактически в кармане, с трехкратной гарантией — и дикое напряжение спало. Росина, отлично выступавшая весь сезон, на этот раз тоже бежала чисто, без сбоев и, захватив на следующем повороте первенство, победила с отрывом в тридцать метров от номера первого и номера пятого, которые пришли голова в голову, так что их места определяли с помощью фотофиниша.

В тот день оказалось два человека, выигравших в пятерном, два человека, которым предстояло разделить котел в 248 тысяч 472 кроны. Обратившись в соответствующее окошко, Хельге Хауге столкнулся с ошалевшим от радости парнем из Драммена. Он вопил: "Я так и знал! Я так и знал! Я был уверен, что рано или поздно этот Веслефрик из второго заезда поднажмет и выиграет. Я уже несколько месяцев на него ставлю и знал, что стоит ему собраться с силами, как будет крупный выигрыш!" Сам Хельге Хауге не знал уже ничего, он молча, с сосредоточенным видом предъявил свой билет и принял к сведению, что десять процентов ему заплатят сразу же, а остальное — через три недели.

Юна он так и не нашел и, поскольку у отца Юна не было телефона, написал ему письмо. Выигрыш уже давно лежал на счете Хельге Хауге в банке, когда в один прекрасный день ему на работу позвонил возмущенный Юн. Он разговаривал сердито,

совсем не таким тоном, как всего полтора месяца назад.

— Да что ты за чепуху городишь, Хельге! Я этого и слышать не желаю. Вот передо мной мой билет, я сниму с него копию, и ты убедишься, что если и выиграл, то вовсе не по моему билету. Надо ж такое придумать! Чтобы я подменивал билеты! Чтобы я пытался обмануть старого школьного товарища! Копию я тебе обязательно пришлю. А пока желаю всего хорошего, и чтоб израсходовал деньги с пользой, а не пустил на ветер, не пропил, как непременно сделал бы я. Ну счастливо, Хельге! Кончаю, у меня не осталось монет на автомат.

Тем и завершилась эта история. Получив копию билета, Хельге Хауге вынужден был смириться. А вскоре приятель рассказал ему, что Юн Датчанин умер от рака. Хельге Хауге отыскал старую газету и сам убедился в этом.

”Вот как идут на дно одинокие морские волки: с развевающимся на мачте флагом”, — подумал Хельге Хауге и не стал распространяться про случай на бегах. Так никто и не узнал, на какие деньги они с Гюлле построили себе домик в деревне.

Что касается знаменательной жизни Юна Датчанина и его не менее знаменательной смерти, о них мы еще, возможно, услышим.

Ох уж этот Юн! Загадал он загадку Хельге Хауге.

Проходя мимо электроцеха, Хельге Хауге слышит доносящиеся оттуда громкие голоса.

— Да где же, черт возьми, справедливость, если договорники получают больше нашего! — кричит

кто-то, явно задетый за живое. — Они же, чтоб им пусто было, даже не члены профсоюза! И плевать они хотели на наш профсоюз!

Разговор привлекает его внимание. Ипподром отходит на задний план, и мысли Хельге Хауге перестраиваются на другое. Людей, работающих по договору на подрядные фирмы, или "серой" рабочей силы, как их называют газетчики, на верфи действительно за последние годы прибавилось, хотя кажется странным, даже необъяснимым, что администрация решает нанять рабочих со стороны в то время, когда отрасль испытывает кризис. Эти гангстерские подрядные фирмы наживают миллионные барыши, вынуждая своих рабочих голодать и холодать. В газетах много пишут про то, в каких условиях им приходится жить. Обычно в ужасных бараках или общежитиях, где к тому же царит такое благочестие, что ребятам не разрешают приводить женщин. В общем, форменное безобразие, с которым пора кончать!

Однако появились эти газозовы. Продукция совершенно новая, предприятием не освоенная, и для нее требуется масса рабочих определенной квалификации, например огромная бригада изолировщиков, еще большая — сварщиков, не говоря уже про специалистов в самых различных областях, которых на верфи, естественно, нет, и потому их нужно приглашать со стороны, за большие деньги.

— Договорники и высокая оплата труда! — вторит тому электрику Хельге Хауге.

И возвращается мыслями к своим первым годам на берегу. Он ведь сам был договорником. Занимался пескоструйными работами, очисткой тан-

ков от окалины и ржавчины, обработкой их химикатами и газами, от которых валишься потом на дно между флорами и, задыхаясь, ловишь ртом воздух, был уборщиком после дробеструйной обработки, когда ты от песка делаешься похожим на ржавый гвоздь, и, наконец, маляром-пульверизаторщиком на стройках и верфях по всей Скандинавии.

Гюлле тогда сидела дома с двумя малышами, а он колесил по разным странам, живя в бараках, поганых общагах, на тесных, грязных брандвахтах. Эта собачья жизнь продолжалась целых десять лет и, пожалуй, шла в сравнение лишь со службой на флоте. О том, как живут люди в нормальных условиях, на воле, у него сохранилось к тому времени очень смутное, отдаленное воспоминание, которое, впрочем, не умерло совсем. Подобно цветочной луковице, оно пережило трудную зимнюю пору и затаилось в ожидании весны, солнца, теплого ветра. Он и сейчас помнит тогдашние ощущения. В бараках они чувствовали себя примерно так, как на военных кораблях, на которых он плавал. Тогда они, "герои", предавались в глубине своих сердец светлым мечтам, но скрывали их друг от друга, поскольку знали, что малейший намек на сентиментальность — и маски спадут, и разразится всеобщий психоз, и они, ополоумев и забыв про короля, бога и отечество, будут в неистовстве крушить всё и вся. Для Хельге Хауге война была шестью годами без единого слова. Это были шесть лет патологической замкнутости в себе. А потом еще десять таких же лет. В общей сложности шестнадцать. Шестнадцать лет лишений и тяжкого труда, от которого у Хельге Хауге появились затемнения в легких.

Да, в те годы каждый жил замкнувшись в себе, лелея мечту о свободе, как садовник лелеет зимой тепличную рассаду, чтобы она окрепла и сумела выдержать короткое и бурное лето наших северных широт. Однако не все растения доживают до высадки в грунт.

В Мальмё им приходилось работать в две смены, по двенадцать часов. Двенадцать часов пескоструйки на сдельщине, с никудышным инструментом и такой грошовой оплатой за метр, что сколько-нибудь приличный заработок требовал полной отдачи от каждого в бригаде. Неделю в дневную смену, неделю — в ночную.

И тут уж не было речи о субботе или воскресенье. Тут нужно было вкалывать без выходных, неделю за неделей, пока работа не будет окончена. Вот тогда, если они быстро справились, глядишь, и выдастся несколько свободных дней в ожидании новой работы, тогда можно найти время на девочек и выпивку.

Работать в таких условиях было, прямо скажем, невыносимо. Чтобы поддерживать высокий темп, ребята понукали друг друга не хуже надсмотрщиков, ворчали и ябедничали, потому что всегда были смертельно уставшими. "Такой-то совершенно ничего не делает!" — постоянно слышалось вокруг. Всякое товарищество было забыто. Ребята превратились в диких котов, отстаивающих свою территорию, и в бараках то и дело возникали драки. С кровью, расквашенными носами, выбитыми зубами. Это было черт знает что такое. Страшно вспомнить!

Случалось, что какой-нибудь идиот отключал обогрев, и тогда очищенные пескоструйкой поверхности секций и танков покрывались "испари-

ной". Независимо от времени года разница температур внутри и снаружи была настолько велика, что на стенках конденсировалась влага. В один прекрасный день можно было прийти и обнаружить, что с переборок капает вода и на них проступила ржавчина. Вот поднималась кутерьма! Ребята как сумасшедшие отчаянно пытались с помощью скребков и щеток скрыть изъяны до прихода контролеров. Но толку от этого было мало. Уж если появилась "испарина" — гиблое дело. Оставалось только желать, чтобы работу принимали как можно скорее, пока не стало еще хуже, ну и, конечно, чтобы попался хороший контролер, который закроет на все глаза. Однако так было далеко не всегда. Обычно приходилось заново чистить пескоструйкой весь танк, причем за собственный счет. Сами понимаете, зарабатывали они на таком деле с гулькин нос.

Да, времечко было не дай господи!

И все-таки самые кошмарные воспоминания — об уборке.

После пескоструйной обработки в отсеках накапливалось полно песку. Тонны дробленого песка, микроскопической пыли, которая лезла во все щели, забивала легкие, проникала глубоко под кожу. Сначала нужно было очистить трудные места — бортовые стрингеры, горизонтальные ребра и флоры, а потом уже приступать к уборке начисто, пылесосом.

Это была чудовищная работа. Во время уборки, как и во время пескоструйной очистки, они спешили как можно скорее кончить и выбраться на палубу, на свежий воздух. Тогдашние респираторы практически не спасали. Это были просто державшиеся на резинке повязки из марли

и ваты. Как показало большое число случаев заболевания силикозом, их можно было с таким же успехом не надевать. Из-за этих никуда не годных масок рабочие по всему миру приобретали различные формы пневмокониоза, то, что в просторечии называется "цементными", "песочными" и "угольными" легкими. Однако других респираторов не выпускали. Монополия на несовершенные средства защиты!

Ребята выбирались из танков желтыми, как китайцы. Сплошь в песке. На промокших от пота комбинезонах лежал слой песка толщиной в миллиметр, кожа зудела, будто на тебя напала чесотка, о ногах и говорить нечего. В сапоги набивалось столько песка, что они становились неподъемными. На зубах скрипело. Тебя разбирал кашель, и песок выходил вместе с мокротой. Отмыть уши было невозможно, сколько бы ты ни плескался под душем. С волосами та же история. Наволочки и простыни делались черными после одной-единственной ночи. Песок, песок, и ничего, кроме песка.

Перекуришь на палубе — и снова, насилуя себя, с ненавистью ко всему свету и к этой проклятой работе лезешь вниз, дышать песком, мучиться дальше.

Когда спускались после перерыва, было немного легче. Пыль обычно поуляжется и тучей висит примерно до половины цистерны, так что первые совки песка шлепаются в это облако, как бомбы, поднимая фонтан серо-желтой пыли. Однако через несколько секунд все становилось на свои места, и ты уже не видел ни зги. Работа шла на ощупь, руки и ноги сами знали свое дело, и ты только потом проходилась пер-

чаткой по стрингеру, проверяя, все ли чисто.

И нужно было перебираться ниже, на следующий ярус лесов. А до днища танка — десять-пятнадцать метров!

Вот для такой сволочной работы судостроительным верфям и требуются договорники. Свои заводские рабочие — слишком ценные кадры, чтобы заставлять их мараться в этой грязи, на такой черной и опасной для здоровья работе. В том-то и разница между постоянными рабочими и так называемыми временными. А постоянные негодуют: как это договорники получают на несколько крон в час больше! С другой стороны, они бы сами не взялись за работу, которую делают временные, и не согласились бы жить в их бараках.

Пескоструйная очистка, окраска распылителем и демонтаж лесов — ключевые высоты на каждой верфи. Именно на этих операциях можно сэкономить дорогое время, а с ним и кучу денег. Зато и любая задержка здесь чревата огромными потерями. На большом судне лишний день работы обходится в сотни тысяч крон. Неудивительно, что именно на этих трех видах работ наблюдается самое большое число несчастных случаев и пропусков по болезни, самая большая текучесть кадров.

Все это вызывает тревогу и у Объединения профсоюзов, и у профсоюзных лидеров на местах. Какие необходимы меры, они знают, однако у них просто нет средств на то, чтобы, заменив аккордную оплату обычной повременной, снизить темп работы, получить возможность контролировать подрядные фирмы и в целом улучшить условия и охрану труда договорников.

Но условия работы на верфи — это только одна

сторона. Есть еще и другая — как договорники проводят то, что принято называть "досугом". В стихотворении, которое я прочел в общественной уборной, говорилось примерно следующее:

Иди же, человек.
Иди сквозь дождь и ветер.
Иди сквозь осень.

Домой иди,
к утраченным мечтам,
к глубинам моря,
к жизни,
к завтрашнему дню.

Иди же ты домой,
где никого
нет, кто бы ждал тебя.

И все же ты в подъезде
почувствуешь тепло
и будешь рад
увидеть коврик, серый, как и ты.

Нажми звонок.
Хозяйка вмиг откроет.
Бери ключи
и двигайся к себе,
в каморку для приезжих.

Такая твоя участь:
быть одному.

Мне не приходилось встречать моряков или пожилых договорников, в которых не ощущалось бы некоей поэтической грусти, потерянности и беспредельной тоски. Нет среди них и таких, кто бы не знал стихов Якоба Санде, Вильденвея, Бул-

ля, Эверланна и Ибсена. А когда после ночной попойки все возвращается на круги своя и люди предстают перед миром столь же беззащитными, как и прежде, они извлекают мятые клочки бумаги и начинают читать собственные стихи, которые, несмотря на старомодную форму и слащавую рифму, в основе своей очень точно отражают современную действительность. Отражают их мечты... В этих неловких попытках излить на бумагу свои горести и таким образом избавиться от них сквозит преклонение перед классиками. Но в них вырисовывается и картина жалкого существования этих трудяг, более того, стихи дают понять, что рабочие прекрасно знают и о других, светлых сторонах жизни, увидеть которые им не суждено, но мечтать о которых им никто не может запретить!

Договорник не является членом профсоюза, а значит, ничем не огражден от увольнения и на него не распространяется система социального обеспечения. Его можно в любую минуту без предупреждения выставить за дверь и оставить на бобах.

И все-таки игра стоит свеч. Пока он работает, у него, так сказать, есть цена. Фирма обязана застраховать своего рабочего на кругленькую сумму в двести пятьдесят тысяч крон на случай смерти и в миллион крон на случай полной потери трудоспособности. Мне встречались люди, которые наносили себе серьезные увечья, только бы раз и навсегда покончить с каторжным трудом или хотя бы на некоторое время избавиться от него. И такое бывает в нашем мире.

Однако, если на рабочем, когда с ним произошло несчастье, не оказалось шлема или спецобуви, это значит, что он нарушил правила техники безопасности и потому не имеет права на компенсацию.

Нет, на пескоструйке Хельге Хауге долго не вытерпел. Он вовремя спохватился и дал деру.

Впрочем, у него были на то основания: он стал чувствовать себя из рук вон плохо. Незаметно для себя он едва не превратился в калеку. А тогда договорных рабочих не страховали на миллион крон.

Он не мог, не задохнувшись, взойти по лестнице на один этаж. Ему казалось, он волочет стокилограммовый мешок песка. Он надорвался, и не было ничего удивительного в том, что у него постоянно болели мышцы. Решив однажды приглядеться к себе повнимательнее, он пришел в ужас. Кожа была испещрена черными точками. Особенно спереди — от шеи до колен. Фактически он обрабатывал пескоструйкой и себя. Под давлением в семь атмосфер. Крупинки песка пробивали насквозь комбинезон, толстое белье и кожу. Там, под кожей, они и застревали.

Лишь теперь он обратил внимание на то, что последнее время у него першит в горле. Нет, тут виновато не одно курение! Это было ясно как божий день, и он не на шутку перепугался, представив себе свои легкие, куда он не мог проникнуть взглядом.

Он пошел к раковине, отхаркался и собрал мокроту в чашку. А потом долго смотрел на этот комок слизи. Она была серого цвета, с прожилками крови и черного песка.

Дело принимало серьезный оборот. Никогда еще он не чувствовал приближения смерти, не ощущал ее дыхания, а в эту минуту он со всей очевидностью понял, чем рискует.

— Что же ты творишь! — заорал он на самого себя. — Ради нескольких жалких крон ты собственными руками, не думая о жене и детях, вгоняешь себя в гроб!

Он уселся на кровать, сцепив руки, и просидел так, пока не начало светать. Пора было подниматься и идти на работу, однако Хельге Хауге не тронулся с места. Только когда время уже приблизилось к полудню, он сел в автобус и поехал на верфь брать расчет.

Там он честно объяснил все как есть, не скрывая того, что испугался.

— Слишком медленно до нас доходит, какой опасности мы подвергаемся. Каторжная работа, она ослепляет. Да я уже сто раз мог здесь подохнуть! Но теперь баста!

В памяти всплыл случай, когда он упал с лесов.

Они уже заканчивали танкер, и, естественно, все смертельно устали. Хельге Хауге был в ночной смене — смене, в которой работа выполняется чисто механически, не оставляя после себя никаких воспоминаний. Он, например, не знал, проспал он всю смену и работал вслепую, в полусне, или, наоборот, голова его была вполне ясной. Он дошел до той стадии, когда все безразлично, когда тебя ничто не интересует, когда сама жизнь лишается смысла. Это очень опасная стадия. Именно в такой период и происходит масса несчастных случаев, и никогда не известно, сорвался рабочий, потому что был вконец измотан или внезапно помутившийся рассудок толкнул его на самоубийство. Тогда даже воздух делается густым, как патока, и жарким, как перед сильной грозой.

Обычно, прежде чем пустить наверх пескоструйщиков, леса проверяют, однако на этот раз проглядели качавшуюся доску на самой верхотуре. Хельге Хауге и сам всегда проверял настил, на который ему предстояло ступить, но тут он забыл это сделать — и полетел вниз.

Ему повезло. Крупно повезло. Доска, не задев его, с грохотом упала на дно. Ему же удалось уцепиться за шланг пескоструйки, и он несколько секунд провисел на нем между жизнью и смертью, пока, раскачавшись, не сумел спрыгнуть на леса ярусом ниже.

Кое-как он добрался до трапа и вылез на палубу, на свет божий, не переставая все это время громко, не своим голосом стонать; он обмочился и наложил в штаны и заметил это, только когда живехонький сидел на палубе и ребята вливали в него одну порцию виски за другой. Его стало корезить, точно в судорогах, и товарищам пришлось насесть на него, чтобы унять их. Вот до чего ему было плохо.

Лишь много позже он почувствовал боль в правой ноге. Пока он болтался между небом и землей, струя песка, пробив голенище, сняла с ноги слой кожи и подкожного жира, так что стали видны обнажившиеся, присыпанные песком мышцы. Потом он два месяца пробюллетенил из-за этой раны, которая воспалилась и никак не зарастала.

Теперь, конечно, охрана труда не идет в сравнение с тем, что было тогда. За исправностью лесов и их сборкой действительно следят. Зато и леса стали значительно выше. Вы помните забастовку на острове Стур? Помните, как рабочие, изготавливающие буровые платформы "Кондип", забастовали из-за того, что администрация мало заботилась об охране труда? Да, забастовку подавили, и с десятков рабочих, так называемых зачинщиков, вышвырнули вон. Но, по иронии судьбы, один из руководителей забастовки упал с высоты в восемьдесят пять метров и разбился. Он должен был, стоя на лесах, принять груз с лебедки, а груз утянул с лесов его самого.

Но это еще не все. Песок, которым пользовались прежде и который вызывал силикоз, заменили каким-то суррогатом — от него меньше пыли. И теперь рабочие заболевают уже не силикозом, а раком легких.

Что касается краски, раньше в ней содержались в основном природные красители и масла. Теперь же все сплошь синтетическое, сплошь яды: свинец, медь, ртуть и другие вредные для организма вещества.

Конечно, всяких правил и запретов хватает, но и всякой дряни и отравы тоже.

Чего-чего, а несчастных случаев Хельге Хауге на своем рабочем веку насмотрелся и на суше, и на море.

Сначала на китобойном промысле. Сколько раз бывало: оглянуться не успеешь — а у кого-то рука или нога попала в лебедку или под трос. Раздробленные кости, отхваченные руки и ноги, и добро бы еще единичные случаи, а то по нескольку десятков за сезон. И вдобавок ужасные условия на корабле. Сырой спертый воздух, преследующий тебя повсюду, запах китовой крови и внутренностей. Чумазые, немытые люди, грязные каюты. Форменный хлев, ни малейшей заботы о людях. И гангрена! Отвратительный запах гниющего человеческого мяса, и жалкий лепет несчастных, пытающихся доказать, что пахнет вовсе не от них, что это не гангрена, просто синяк и опухоль. И оставалось только влить в них бутылку виски, привязать к кровати и пилить и кромсать, не обращая внимания на вопли страдальцев, которые молили о пощаде, как преступники, которых волокут на казнь. Это напоминало забой свиней. А ведь приходилось резать с запасом, чтобы гангрена уж точно не по-

шла дальше. Если болезнь зайдет выше паха, пиши пропало. Тогда никому и ничем не остановить безжалостный антонов огонь. За несколько дней больной полностью разлагался, и было невыносимо тяжело смотреть, как человек мучается и беснуется, до последней секунды теша себя надеждой на спасение. А когда наставал конец, труп бросали в море или держали в холодильнике до прибытия в порт или оказии, с которой можно было переправить его на берег.

Ох, какие страшные бывали случаи!

Однажды в Роттердаме, когда Хельге Хауге плывал на танкере, занимавшемся перевозкой специальных грузов, его друг, матрос Стейн Ларсен из Хамара, жестоко поплатился за свою неопытность. Произошло все мгновенно и исключительно по незнанию, из-за неосведомленности. Но ведь опять-таки это случается на каждом шагу!

Они приступали к перекачке своего опасного груза, жидкого каустика, и этот самый Стейн вызвался открыть крышку люка, через который она должна была производиться. Однако давление в танке оказалось выше нормы, каустик выплеснулся, и резиновые сапоги Стейна мгновенно наполнились едкой жидкостью. Как он кричал! Звериным криком, к которому может вынудить человека лишь нестерпимая боль, постепенно доводящая его до того, что он, слава богу, теряет сознание. Стейн беспорядочно шарил руками в воздухе в поисках опоры. Не найдя, за что бы ухватиться, он как подкошенный рухнул на палубу. И пока с него сдирали сапоги, каустик прожег кожу и мясо до кости. Прилетевший вертолет забрал Стейна в больницу, однако ноги пришлось ампутировать по колено.

И в то время рабочие вынуждены были мирить-

ся со всем этим и помалкивать. Такую цену приходилось некоторым из них платить за привилегию иметь постоянную работу.

А случай в Мальмё, когда Хельге Хауге сам был в нескольких метрах от гибели! Во время посадки на корабль они стояли рядом с трапом, пережидая, пока по нему спустятся трое шведов, как вдруг мимо просвистело несколько упавших с палубы сварочных электродов. "Берегись!" — крикнул Коре ближайшему к нему шведу. Но тот не успел и глазом моргнуть, как кусок металла, пулей пройдя через шлем, проломил ему голову. Он испустил дух прямо на месте. Когда его подхватили, он уже был мертв.

Приходилось Хельге Хауге заниматься и разборкой лесов. На что уж работа чистая, но тоже со своими прелестями, со своим риском. Сдельщина заставляла ребят выкладываться, подгонять друг друга, порой толкая на самые безрассудные поступки. Иногда они прямо-таки играли со смертью.

Дело было в Гётеборге.

Там придумали оригинальную, совершенно замечательную систему лесов: их монтировали по-секционно внизу, и, когда секцию устанавливали, оставалось лишь пройти по настилам и проверить, все ли доски лежат хорошо. Естественно, это экономило верфи кучу времени, и если возводились леса так быстро, то и разобрать их, когда танкер был закончен, не составляло труда. Вот этой непыльной работой они и занимались. И должен вам сказать, дело спорилось. Их было четверо: двое на палубе, а двое — внизу, в танке. Те, что стояли наверху, принимали груз, крутили лебедку, складывали доски, крепёжные хомуты, перила и стойки — в общем, вкалывали в поте лица, ну и у

тех, кто был внизу, забот хватало: нужно было в соответствующем темпе нагружать лебедку. И они с этим прекрасно справлялись, по крайней мере если все шло гладко.

Танки были от четырех до десяти тысяч квадратных метров, и платили им по одной шведской кроне за метр. Клянусь всеми святыми, это было золотое дно! Для шведов время — деньги, и они любят, чтобы все делалось быстро.

В небольших цистернах, например в носовом отсеке, они работали в убыток, потому что там было слишком тесно и сколько-нибудь эффективная система разборки лесов была неприменима, зато когда с ними было покончено и они переходили ко второму танку — в шесть с половиной тысяч квадратных метров, — тут уж было где развернуться. А на закуску они оставляли такой лакомый кусочек, как центральные танки. В этих ровных прямоугольных коробках только и дела было, что крутить большую лебедку. Обычно они всей бригадой спускались в танк и сначала разбирали верхние ярусы. Они складывали доски штабелями по пятнадцать штук на рамных флорах, и потом уже можно было без передышки вытаскивать их наверх. При разборке лесов в центральном танке они скакали и карабкались не хуже обезьян. Иногда даже висели на одних руках, с победным грохотом спихивая вниз доски.

Закончив верха, они опять-таки всей бригадой спускались на днище и прямо под люком, расположенным на высоте в двадцать метров, складывали доски, так что потом оставалось лишь застропить груз, подцепить крюк лебедки и давать свисток: **ВИРА, РЕБЯТА!**

Такой центральный танк они могли сделать за

неделю, если прихватывали воскресенье. А уж если они работали и субботу, и воскресенье, это значило: не будет ни водки, ни девочек, одни только шведские кроны, что, впрочем, было к лучшему, поскольку выходные с обильной едой и выпивкой стоили недешево — не меньше пятисот крон с рыла. Девочки в Гётеборге обходились довольно дорого.

Но зато, бог ты мой, как они иногда шикарно проводили время в этом самом Гётеборге! Жили они в прекрасных меблированных квартирках, где можно было принимать женщин, сколько душе угодно. В подвале размещались стиральные машины и сушилка, а на каждом этаже были гостиная и комната, в которой смотрели телевизор. А если кто предпочитал быть один, можно было пользоваться благами цивилизации в собственной квартире. Все было подведено, оставалось лишь воткнуть вилку в розетку. Можно было, при желании, и телефон собственный завести, с отдельным номером.

Вот как оно было работать на шведов. По части быта они умеют все устроить в лучшем виде. Этого у них не отнимешь.

И вообще надо вам сказать, Гётеборг — чудесный город. Там огромный выбор развлечений: театр, кино, рестораны, ночные клубы, парки со всевозможными аттракционами, не говоря уже о роскошном пароме, на котором можно съездить искупаться на острова, всего за две кроны. К парому шел трамвай, а трамвайный билет годился и на паром. И они купались в фьорде с его прозрачной водой, с его лебедями и стаями уток, а потом сидели на берегу, ловили рыбу и прикладывались к фляжке.

Да, в те годы у Хельге Хауге оставался кое-

какой запас сил и энергии. Тогда он еще умел наслаждаться жизнью. Он был полон энтузиазма и неплохо чувствовал себя на свете, несмотря на окружавшие его грязь и сволочизм.

А все потому, что бригада у него подобралась хорошая. Как один, отличные ребята. Взрослые мужики, немало пережившие, занимавшиеся раньше кто чем, но, главное, умевшие работать. Конечно, они многого не понимали (а кто может похвастаться тем, что понимает все), зато они понимали друг друга, и чего еще желать от людей, с которыми круглые сутки работаешь как заведенный? Именно дружба и взаимопонимание придают смысл работе. И их так связывала настоящая дружба. Если все было в порядке и в субботу работа шла по графику, то есть близилась к концу, они обязательно проводили вечер вместе. В ресторане или в ночном клубе, желательно с рулеткой, поскольку девочкам очень нравилась эта игра. И девочки надевали свои самые нарядные вечерние туалеты, а ребята были в модных костюмах, иногда даже в тройке, и позволяли себе ослабить узел галстука не раньше полуночи. Наутро они поднимались часов эдак в девять. Шли в ближайшее кафе, завтракали и покупали еду и выпивку на весь день. В пакет с продуктами не забывали положить несколько бутылочек настойки.

А потом они вкалывали до упора. Где-нибудь посреди работы спускали на лебедке пару банок пива, чтобы ребята внизу не погибли от жажды, а кончив танк, они устраивали на палубе пикник. Завершалось пиршество бутылкой сухого вина.

Если бы детям не нужно было ходить в школу, Хельге Хауге обязательно перетащил бы в Гётеборг семью и осел бы там навсегда. Его привле-

кало в этом городе то, чего он не находил на родине. Здесь был иной размах, выше потолок, легче жизнь.

Кстати сказать, в Гётеборге они с Гюлле были свидетелями, когда женился финн Кирви, и присутствовали на торжественном обеде с лососиной и морем разлитым вином, который был устроен на квартире его жены. В Гётеборге, где многое выходило за рамки обычного, история Кирви тоже была необычной — удивительной по своей трагичности.

Кирви встретил Вальмет, когда однажды отправился прожигать жизнь в "Порт-Артур", типичное портовое заведение в районе моста через Гёта-Эльв. Вальмет обычно подрабатывала на панели, и, как только Кирви начал заглядываться на нее, подскочил ее хахаль и говорит:

— Деньги вперед, двести монет!

Однако Кирви, который вообще-то не рассчитывал выкладывать деньги за то, что так красиво называется любовью, поскольку он теперь не ходил в море и привык к более щедрым дарам суши, сначала было оторопел, а потом возмутился.

— Ну, знаешь, я как-нибудь сам разберусь, кому я сколько должен! — заявил он, хмуро глядя на сутенера. — Да я скорее выложу двести крон тому, кто сбросит тебя с моста в Гёта-Эльв!

И тут появился нож. Нож, нацеленный прямо в волосатую грудь Кирви. Он по-кошачьи увернулся, схватил сжимающую нож руку, вывернул ее так, что нож упал на землю, и изо всей силы швырнул сутенера об стену.

Кирви не помнил, как получилось, что Вальмет поехала с ним: то ли он ее пригласил, то ли она сама увязалась. Очухался он, только когда они мча-

лись на его драндулете по направлению к Свартедален. Но он развил слишком большую скорость. На одном из перекрестков зеленый свет резко сменился красным, а впереди, загораживая ему дорогу, остановились два такси. Зная, что у него не в порядке тормоза, он успел прокричать:

— Держись! Сейчас врежемся! — и они таки врезались в одну из машин.

Все произошло мгновенно. Выругавшись, Кирви спросил, не ушиблась ли Вальмет. После чего дал задний ход, въехал на тротуар и погнал что было мочи. Так он и ушел.

— Полицию я, как видишь, оставил с носом, — рассказывал Кирви Хельге Хауге на другой день, в обеденный перерыв. — Но теперь у меня сидит эта женщина с двумя детьми. Она, понимаешь, боится идти домой, потому что заявится ее хахаль, а она мечтает, что я перееду жить к ней!

— Но она тебе хоть нравится, Кирви? — спросил Хельге Хауге. — Или ты всю эту кашу заварил по пьяной лавочке? Это ведь большая ответственность: взять женщину, у которой цепляется за юбку двое ребятишек. Большая ответственность, Кирви!

— Конечно, нравится, Хельге, и в постели мне с ней хорошо, и вообще я давно уже подумывал о женщине, которая бы заботилась обо мне, а Вальмет — она неплохая. И детишки у нее хорошие, а ты бы посмотрел, какую красоту она у меня навела, как взялась за дело. Она, конечно, не ангел, но и я, считай, уже полжизни угрохал неизвестно на что, и пора мне, пожалуй, остепениться. А, Хельге? Ты согласен?

Прошло несколько дней. Кирви, получив от Хельге Хауге благословение и всяческие напутст-

вия, переехал к Вальмет, и вдруг однажды вечером Хельге Хауге открывает на стук дверь и видит перед собой Кирви, бледного как полотно и страшно озабоченного.

— Ты уж, пожалуйста, извини, Хельге, что я заявляюсь так поздно, только мне срочно нужно перекинуться с тобой парой слов, с глазу на глаз. Если, конечно, ты сейчас не очень занят.

И Кирви, опустив смущенный взгляд долу, точно молоденький мальчик, признался, что подхватил триппер.

Вопрос теперь был в том, получил он эту, по его выражению, "заразу" от Вальмет или до нее, от кого-нибудь из прежних знакомых. И в том и в другом случае ему необходимо было "поговорить с этой Вальмет по душам", сказал Кирви и тут только в первый раз поднял глаза.

— Потому как если я ее должен благодарить, боюсь, нам придется расстаться. Я с такими вещами мириться не собираюсь. Прав я, Хельге? А кроме нее, меня этим наградить было некому. Я уже сколько времени с женщинами не общался, ты понимаешь, Хельге, что я имею в виду. Целых две недели: последний раз мы ведь и в субботу, и в воскресенье вкалывали, болезнь бы давно проявилась. У меня, знаешь, опыт есть, имел однажды удовольствие! Кроме нее, грешить не на кого!

Хельге Хауге был отзывчивым и мягким другом. Он не считал, что нужно разрывать отношения из-за какой-то "заразы", и, понимая, что Кирви сам не может найти выхода из щекотливого положения, сказал:

— Честно говоря, Кирви, я не вижу, из-за чего весь сыр-бор. Ты же не хуже меня знаешь: триппер не бог весть какая новость, его можно подце-

пить где угодно и от кого угодно. Это только раньше люди стыдились такой болезни. Да от него избавиться легче, чем от простуды! Помнишь, как совсем недавно эта самая болезнь открылась у Йенса? Он только посмеялся и сказал, что, пожалуй, игра стоила свеч. Нельзя же так с бухты-барухты взять и порвать! Что ты вдруг заделался таким обидчивым? Бери-ка ты лучше Вальмет и идите вы к врачу, пусть он вас обоих посмотрит. Да-да, обоих, и лечитесь тоже вместе. Это будет самое правильное. Вот увидишь, недели не пройдет, как вы сможете снова резвиться, сколько душе угодно!

И Кирви, обнадеженный и довольный, ушел. Он получил дельный совет от уважаемого человека, от Хельге Хауге, друга, на которого можно было положиться и в беде, и в радости. К его словам стоило прислушаться.

И он повел Вальмет в лечебницу, и обоим вкачали по уколу. А потом оба принимали таблетки и вылечились.

Но вскоре выяснилось новое обстоятельство: Вальмет ждала ребенка. И когда все сомнения отпали, Кирви вновь обратился к своему лучшему другу за советом, поскольку и теперь все было негладко. У Вальмет каждый день истерики, рассказал Кирви, и его беспокоит, как бы не вышло вреда для ее здоровья.

— Она клянется и божится, что ребенок мой и что она не больше чем на пятом месяце, а мне, Хельге, не верится, брюхо у нее громадное, как барабан, и я в толк не возьму, что мне теперь делать, Хельге. Вот ей-богу не знаю! Для аборта уже поздно, да и жалко было бы, вдруг ребенок и вправду мой? Но меня трясоти начинается, как поду-

маю, что это ее чертов сутенер постарался или еще какой идиот, которого она подцепила на улице. Ты меня, Хельге, пойми, я все-таки тоже человек!

От волнения Кирви громко хрустел суставами узловатых пальцев. Хельге Хауге решил пойти с ним в бар на углу, чтобы обговорить все за кружкой пива, и после нескольких вступительных слов он, похлопав Кирви по плечу, сказал:

— Я бы тебе, Кирви, посоветовал проявить великодушие. Если уж на то пошло, какая разница, сколько детей тебе достанется в наследство, двое или трое? Да такой здоровый мужик, как ты, еще десять раз успеет сделать Вальмет ребенка!

И Кирви нечего было противопоставить этой несокрушимой логике. Жизнь много била его, и особенно привередничать ему не приходилось, в конце концов не так уж трудно будет пережить и этот удар. Да и прав был Хельге Хауге: мужик он во всех отношениях что надо, и перед кем ему было стыдиться? Да ни перед кем. Ни перед кем, и все тут!

И в скором времени Хельге Хауге и Гюлле получили официальное приглашение на свадьбу. Приглашение было золотыми буквами отпечатано на красивой открытке, а внизу стояли подписи Вальмет и Кирви. Они приглашали Хельге Хауге с женой в качестве свидетелей и почетных гостей.

И был пир на весь мир.

Стол ломился от изысканных блюд: закуски под разными соусами, со сметаной и майонезом, мясо и рыба с гарниром из горошка и фасоли, а посередине — огромный лосось, плававший в яичном соусе с зеленым луком. Как отметили немногочисленные гости, вина, особенно шампанского, тоже хватало, и все друзья, пришедшие поздравить

молодоженов, пребывали в отличном настроении и безо всяких церемоний подливали себе еще и еще.

Кирви был на седьмом небе от счастья и к тому времени, когда завели песни, порядком наклюкался. Он старался не ударить в грязь лицом и выглядел вполне прилично в своем взятом напрокат смокинге, но праздновать начали так рано и так бурно, что в десятом часу Вальмет отвела его в спальню, где он и погрузился в блаженный сон.

Хельге Хауге с Гюлле вернулись домой около одиннадцати, тоже основательно набравшись, но счастливые и довольные, что с их помощью Кирви наконец благополучно приведен в гавань.

Итак, Кирви женился и теперь мечтал лишь об одном: занять малыша, который уж точно будет его собственным. Увы, дожидаться этого ему не привелось. Если кому в жизни не везет, так не везет!

Добрый, славный Кирви, он до конца старался не подвести товарищей и работал как одержимый — и однажды упал с лесов и разбился. Падая, он задел переносной светильник, и искать его пришлось с карманным фонариком. Честно говоря, там и искать-то было почти нечего, и вся бригада плакала в голос, когда его останки поднимались на лебедке наверх.

Вот как случилось, что после свадьбы Гюлле с Хельге пришлось организовывать похороны Кирви!

5

Хельге Хауге подошел к краю причала.

Внезапно на него упала тень, тень гигантского газового танкера. Он вздрогнул и поднял глаза на

это огромное судно, отвесной горой возвышавшееся над ним. Высоко вверху он разглядел сферические цистерны, вернее, металлическую броню толщиной в несколько дюймов, в которую они были одеты. Эти "шары", выкрашенные в кирпичный цвет, резко выделялись на фоне белесого осеннего неба.

Он машинально отступил назад, чтобы удобнее было смотреть. Оказываясь рядом с этими кораблями, он каждый раз видел в них что-то новое, и у него возникали самые фантастические ассоциации. "Точно опрокинутый на спину гигантский доисторический ящер! — подумал он теперь. — Беременная рептилия, неподвижная и уродливая, несущая в своем исполинском чреве шесть яиц, шесть далеко не безобидных яичек".

Под алюминиевой оболочкой каждого из них помещается двадцать пять тысяч тонн сжиженного природного газа. Итого, в шести таких пасхальных яичках можно перевезти сто пятьдесят тысяч тонн газа, что равняется годовому потреблению энергии такого города, как Берген. Но этой же энергии достаточно для того, чтобы в течение нескольких минут стереть такой город, как Берген, с лица земли.

"Газ под давлением охлаждают до температуры в сто шестьдесят четыре градуса ниже нуля, при которой он переходит из газообразного состояния в жидкое. И эта, с позволения сказать, "жидкость" занимает в шестьсот раз меньший объем, чем газ. Однако стоит температуре подняться хотя бы на один градус, и газ мгновенно закипает, что чревато катастрофическими последствиями. Газ из жидкого переходит в свое первоначальное состояние, то есть его объем увеличивается в шестьсот раз — и происходит взрыв!

Ядерный реактор — это атомная бомба, только прирученная.

Точно так же и газозов, подобный тому, о котором идет речь, приручен, его держат в подчинении с помощью контрольно-измерительных приборов, изоляционных материалов, стали, алюминия, высокого давления и мощных холодильных установок, и все это круглые сутки находится под наблюдением самой что ни на есть современной системы оборудования, в том числе электронных термометров, регистрирующих ее колебания с точностью до тысячной доли градуса, а также манометров, работающих по тому же принципу, только регистрирующих отклонения в давлении, плюс рентгеновской аппаратуры, призванной обнаруживать усталость материалов, и, наконец, целого ряда фотоэлементов и телекамер, собирающих сведения со всего судна и отсылающих их в центр управления, где они обрабатываются на ЭВМ, которая в десятую долю секунды обобщает этот материал и выдает отчет дежурному инженеру.

Вам, принимающим участие в постройке таких судов, известно, что они еще снабжены двойным дном на случай столкновения или посадки на мель.

Все прекрасно, пока идет как положено.

Однако стоит технике подвести, и танкер превращается в безумствующее чудовище, укротить которое нельзя никакими силами.

И тогда становится неизбежным колоссальный взрыв.

В ту самую секунду, когда газ, охлажденный до температуры сто шестьдесят градусов ниже точки замерзания воды, входит в соприкосновение с воздухом, он поглощает тепло в радиусе пяти километров, в результате чего вся живая и неживая

материя в пределах досягаемости этой полярной зимы подвергается заморозке. К тому же, добавлю я, глубокой заморозке!

Но уже в следующую секунду дают о себе знать и побочные эффекты.

Взрыв атомной бомбы, помимо всего прочего, приводит к образованию вакуума в подвергшемся бомбардировке районе, поскольку сгорает весь кислород, а с ним, собственно, и другие газы. Феноменально низкое давление вызывает ураганные ветры, сметающие все, что не было разрушено и уничтожено ранее.

Наш колоссальный айсберг, который займет в открытом море восемь квадратных километров (и бог знает сколько кубических), в результате огромной разницы температур по краям начнет "выпускать из себя зиму". Другими словами, лед начнет таять. Однако не так, как тает лед в коктейле. Отнюдь не так! Скорее это будет похоже на то, что происходит с кусочком сухого льда, брошенного в стакан с водой: вода начинает клочкотать. Она бурлит!

Так вот, дорогие мои, море закипит.

Да, море закипит, и огромные пузыри газа будут подниматься на поверхность и уноситься в атмосферу, как это свойственно газам в их естественном состоянии. Возникает вопрос о последствиях, которые будет иметь присутствие в атмосфере большого количества взрывоопасного газа. Гонимые ветром гигантские "облака" газа могут очутиться над городом, где им ничего не стоит вспыхнуть от любой искры. Эти гигантские пузыри газа могут воспламениться от самолетов или от статического электричества. Отдают ли господа себе отчет в том, чем грозит сооружение газозовов?"

Все это Хельге Хауге слышал собственными ушами.

Мнения профсоюзных лидеров в отношении новых судов резко разделились, поскольку очень быстро стали известны и связанный с ними риск, и повышенная трудоемкость их постройки.

— Кто не хочет работать, пусть увольняется! — заявил на первом информационном совещании директор Клеппе, и эти слова возымели свое действие. Оппозиция была сокрушена.

— Во время кризиса убеждения могут обойтись слишком дорого! — сказал на заседании, посвященном выработке тактики профсоюза рабочих металлургической и машиностроительной промышленности, районный секретарь Педер Бюэ. — В трудную минуту, как известно, и черт мухами питался!

Естественно, что на второе информационное совещание, проводившееся в следующую пятницу противниками новых судов, явилось очень мало народу. Всего тридцать человек из почти трех тысяч. Праведники Содома и Гоморры, которых едва набралось для кворума, чтобы можно было выдвинуть контрпредложения.

Но все присутствующие были потрясены услышанным. Четкие, научно обоснованные факты всегда воздействуют на умы, независимо от того, приводятся они в качестве аргументов за или против.

Хельге Хауге они смертельно напугали. У него и раньше были кое-какие соображения на этот счет, а новые сведения лишней раз подтвердили его уверенность в том, что никого, абсолютно никого не волнует безопасность рабочих, что при внедрении новой техники и освоении новой продук-

ции в современном промышленном производстве она никогда не является сколько-нибудь весомым и тем более решающим доводом.

Об индивидуальной охране труда еще кое-как заботились, и то исключительно в рамках отпускаемых средств. А рамки эти очень и очень ограничены, несмотря на то что в отдельные годы отчисления были довольно высокие. В послевоенный период был ведь не один сплошной кризис!

Так вот, об охране труда. С ней то и дело выходят казусы, а потом — приспущенные флаги, когда кто-нибудь из ребят расшибется как блин или его искромсают на куски, как салаку в тарелке.

Рабочий с опытом вроде Хельге Хауге видел слишком много этих, как он выражался, позорных пятен, а теперь он сам в качестве бригадира маляров отвечает за безопасность товарищей.

А ведь зло не только в растворителе, газах, токсичных веществах. Подумайте, какую опасность таит в себе свежеразлитая цистерна, в которой, если она достаточно большая, содержится тысячи кубометров взрывчатого газа, — да пока она сохнет, с ней нужно обращаться как с фарфоровой статуэткой. Шланги, подводящие горячий воздух с одной стороны и отсасывающие вредные пары с другой, должны быть антистатичны. Если при трении воздуха о шланг образуется статического электричества хотя бы на одну искру — БУМ! — полсудна отваливается на месте.

”С крупными газовозами ситуация такая же, как с большими самолетами, — объясняли специалисты. — Наиболее опасны моменты приземления и взлета, то есть швартовки и отчаливания, поскольку тут работает много голов сразу и вероятность путаницы и недоразумений возрастает в сот-

ни раз по сравнению с тем, когда все находится в ведении одной ЭВМ”.

В этом Хельге Хауге имел возможность убедиться на собственном опыте.

Он попал в число тех, кто совершал пробный рейс через Северное море к берегам Шотландии, в Тиссайд, и попал лишь потому, что на палубе оставались кое-какие недоделки.

Ну так вот. Произведя пробное сжижение газа, они заполнили цистерны и, довольные результатом эксперимента, держали путь домой. Однако, чтобы не входить в порт с газом, они заранее открыли клапаны и стали выпускать свеженький североморский газ прямо в воздух.

Такое наплевательское отношение к газу и окружающей среде было само по себе недопустимо, думал Хельге Хауге, но хуже всего было то, что ни на капитанском мостике, ни на палубе никто не сообразил, что в небе, в сером облачном покрове скапливаются тысячи киловатт статического электричества. Ни одна собака не допетрила до такой простой вещи, и — БУМ! — раздался оглушительный грохот, как будто у них над головами дали залп из двух десятидюймовых орудий. И в воздух взметнулся бело-голубой столб огня. У Ильи-пророка и то не получилось бы лучше! Да, не очень-то уютно чувствовали себя перепуганные человечки внизу, на палубе.

Предохранительные клапаны, слава богу, выдержали. Цистерны не взорвались. Но кое-какое представление о том, что ожидает людей на таком судне, они получили. Возвращение в порт своим тягостным молчанием напоминало похороны, и, лишь ступив наконец на твердую землю, все с облегчением вздохнули.

Однако работы идут полным ходом. Мы, не противясь, мастерим эти газовозы, чтобы кто-то после нас пережил нечто подобное или что-нибудь похуже. Получается, будто мир за пределами верфи нас не касается. Мы с удрученным и беспомощным видом идем в душ смывать с себя грязь, утешаясь, как Пилат, тем, что не мы будем виновны, если на построенных нами судах когда-нибудь произойдет несчастье.

Хельге Хауге решил пройти через механическую мастерскую перекинуться парой слов с Малым, механиком по ремонту окрасочной аппаратуры.

Малый был эдакий медведь, здоровенный белобрысый парень, косая сажень в плечах. А белобрысый такой, что его длинные спутанные волосы и борода издали казались ореолом вокруг яркой лампочки. Глазки у него были небольшие и прищуренные, даже, я бы сказал, скептические, но они горели огнем из-под насупленных бровей, когда в его восьмицилиндровой грудной клетке вспыхивало возмущение. И тогда никто не отваживался приблизиться к Малому. Уж за это я ручаюсь. Что еще сказать про его лицо? Это было лицо дикаря, выглядывающего сквозь просвет в густых-прегустых зарослях. Глаза и средней величины довольно прямой нос прятались в джунглях нестриженных волос и бороды, отпущенных специально, чтобы скрыть шрамы и другие следы, которые оставляет на лице человека трудная жизнь.

По-настоящему его звали Беньямин, и Хельге Хауге он нравился по многим причинам. Прежде всего потому, что в Беньямине он видел человека, похожего на него самого, только более силь-

ного и независимого. Какие бы невероятные, фантастические, чуть ли не кошмарные истории ни рассказывали про Беньямина, Хельге Хауге видел в нем собственное идеализированное "я". Беньямин был наделен жизненной силой, мужеством, дерзостью, сочетававшимися с юмором висельника и изрядной горечью, прямо-таки ненавистью.

Суть Беньямина можно выразить следующими словами: моряк, осевший на суше. Человек, объездивший весь свет, понюхавший всего, что могут предложить тысячи хмельных портовых городов, — а мир достаточно велик, если объезжать его на судне, еле делающем семнадцать узлов. Однако любознательность Беньямина была неутолима, порой даже кровожадна. Случалось, что он, поплевав на руки, ввязывался в драку, так что начинало пахнуть жареным. Неутомимая жажда жизни гнала его по горам и долам, по странам и континентам, от лета к зиме и от осени к весне. Он как свои пять пальцев знал места, названия которых были для других пустым звуком.

Он повидал мир. И, как часто бывает в таких случаях, превратился в Фому Неверующего, которому, чтобы самому во всем убедиться, непременно нужно было вложить перст в рану, кстати, его-то Беньямин и считал единственным истинно верующим среди двенадцати апостолов. Оставим это утверждение на его совести.

Ему в кровь попала капля страшного яда, и этот яд лишил его веры, поселил в нем сомнения. Его устраивали отнюдь не все ответы, и он еще в школе понял, что учителя пытаются вдолбить ему в голову одну ложь за другой. Как его осенило, он не помнил, но, очевидно, произошло это под воздействием все того же яда. Ему он был обя-

зан и своей тонкой интуицией. Задолго до того, как Бенъямину удалось сбежать из детского дома, он догадался, что мир должен быть гораздо значительнее и устроен иначе, чем тот кусочек жизни, который он наблюдал каждое воскресенье у входа в церковь.

Да, он мотался по свету, он искал и находил. Истину он познавал на собственной шкуре. Оглянувшись однажды назад, он открыл для себя, что при всей безграничности неведения истина может быть простой и ясной, как яблоки, которыми самые приличные девочки в классе задаривали учительницу. Учительница была неизменно растрогана и пускала слезу при виде такой исключительной преданности. Вот почему Бенъямин с отвращением оглядывался на прошлое. Позади он видел кучку близоруких альбиносов. Впереди он видел море черных рабов, пресмыкающихся, тягловой скотины, презренной и проклятой, людей, которых волновало в жизни только одно: чтобы их не обошли в очереди за жратвой. "Слава тебе, белая обезьяна, коей богом предначертано убиваться ради денег! Круши все, истребляй всех, ибо в войнах обрешь ты свое счастье и взойдешь на небеса, оставляя за собой кровавый след! Иди и смотри! Вот он, конь вороной, и на нем всадник. Тот, кто взял на себя грехи мира, кого любят немногие и ненавидит большинство. Смотрите, вы, я денно и ночью слежу за вами! Аминь!"

И ему нужно было увидеть все самому, чтобы поверить, и когда он убедился во всем, когда почувствовал, что, того гляди, потонет в крови и позоре, тогда он сошел на берег и поклялся разделаться со всей ложью и всеми лжецами.

Не он ли десять лет своей жизни провел в па-

ломничестве? Разве одного лишь Христа распяли за то, что он взял на себя грехи мира? Нет, конечно, нет! Бенъямину пришлось видеть больше сожженных детских трупов, чем было первожденных во всех коленах Иродовых. А потому не плачьте! Все ваши грехи отпущены ради него!

Волна стыда за белого человека впервые захлестнула Бенъямина на оживленной улице Бангкока, когда он увидел, как двое американских моряков, которые приехали из истекающего кровью Вьетнама навестить публичный дом, размахивают перед носом у велорикш долларовыми бумажками. Эти одетые в хаки представители Корпуса мира устроили своеобразные бега. На лицах юных тайландцев была написана невыразимая мука. Они жали на педали, едва не падая от истощения, как миллионы людей в этой стране; они везли своих палачей по улицам города, надрываясь из последних сил.

Второй случай произошел в Стамбуле.

Там, сами понимаете, больше в ходу не велосипеды и рикши, а носильщики. Худые, жилистые люди, волокущие на согбенных спинах тяжеленный груз.

В тот раз это был подносчик дров. Он торопливо шел по переулку в сторону базара, и Бенъямин еще издали увидел, как мертвой акульей хваткой впивается ему в плечо пеньковая веревка. Бенъямин видел его лицо — лица ведь очень красноречивы, — видел полные слез страдальческие глаза, в которых застыл испуг: вдруг кто-нибудь возникнет в узком проходе и загородит ему дорогу. Глаза прямо-таки взывали ко всему миру, моля расступиться. Носильщик делал каждый шаг,

превозмогая себя, и ему оставалось несколько десятков метров до того места, где можно будет сбросить давящий тюк, прилечь на него и отдохнуть. Беньямин уже мысленно видел, как он лежит, распластавшись, на своем грузе и никак не может отдышаться.

И тут на пути носильщика возникла группа немецких туристов. Они шли обедать в тот самый ресторан, куда он нес дрова.

Предвидя катастрофу, Беньямин закричал:

— Да подождите вы, ради бога! Дайте человеку пройти!

Однако было уже поздно. Носильщик, громко застонав, повалился на асфальт под тяжестью своего груза и, придавленный им, остался лежать, точно линчеванный вор.

— Mein Gott! Was ist doch los?¹ — закричали, перебивая друг друга, туристы и с садистским любопытством столпились вокруг упавшего носильщика. Кое-кто даже вытащил фотоаппарат, но тут к ним, угрожающе потрясая кулаками, направилась целая орава турок, и вся компания бросилась к стоявшему неподалеку на той же улице автобусу.

Беньямин, склонившийся было над носильщиком, поспешно встал, не обнаружив у него пульса.

Однако его уже тесным кольцом обступили разгневанные турки. В глазах их сверкали обида и ненависть. Беньямин прекрасно видел это, но был беззащитен против них. Он, как Лорд Джим², стоял в ожидании, когда его схватят. И они бы не преминули это сделать, если бы за него не вступился

¹ Боже мой! Что случилось? (нем.)

² Герой одноименного романа Джозефа Конрада.

хозяин ресторана, который все видел и объяснил толпе, что в действительности произошло. А потом посоветовал Беньямину уносить ноги до прихода полиции.

— Турецкие тюрьмы не приспособлены для вас, европейцев! — недвусмысленно объяснил он на своем ломаном английском.

Да, Беньямин был в тот раз на волосок от расправы, и, когда он через несколько лет сам оказался свидетелем подобной сцены и вынужден был стоять сложа руки, не в силах чем-либо помочь, он с благодарностью вспомнил человека, спасшего ему тогда жизнь.

Но главное — случай-то очень типичный. Обратите, кстати, внимание на то, с каким смаком туристы утоляют свой аппетит в слаборазвитых странах. Это в особенности относится к немцам, которые всегда любили хорошо поесть и хвастаются своим патологическим пристрастием к еде и набиванию утробы. Никто больше немцев не наслаждается едой, если она сдобрена сознанием того, что на улице полно голодающих. Не зря немцы предпочитают рестораны на открытом воздухе: оттуда лучше обзор. В этом заключается их понимание демократических прав и свобод: MAT, ESSEN, TRINKEN, LASSEN DIE SORGEN ZU HAUS! ¹

Им прекрасно спится на матрасах, набитых человеческими волосами, а во рту у них блестит награбленное золото...

Беньямина замутило. Внутри у него точно что-то переворачивалось, с новой силой вспыхивала острая, мучительная боль, которую он прежде не

¹ Ешь и пей, оставь печали дома! (нем.) — слова из старинной немецкой студенческой песни.

раз пробовал залить пивом, вином или водкой.

А потом подступило то, что он называл очищением. Он пустился бежать, надеясь скрыться в переулке, но не успел. Тогда он попытался, зажав рот рукой, сглотнуть, однако и это ему не удалось. Его стошнило, вывернув всего наизнанку.

И пока он стоял, извергая из себя последние капли желудочного сока, он вдруг понял, что ему никогда не отделаться от своей болезни. Она была как малярия, которая прячется внутри и не кажет носа до тех пор, пока больной не почувствует себя лучше и не вылезет погреться на солнышко. До поры до времени это ему сходит с рук, но вот в один прекрасный день солнце припекло посильнее, и проклятая напасть возвращается. Его снова начинает бить лихорадка. Болезнь никогда не отпускает его.

И чтобы избавиться от гнетущего впечатления встречи со своим прошлым, Беньямин, забрав из гостиницы вещи, сел в первый попавшийся — как оказалось, самый лучший — автобус-экспресс до Измира.

Впрочем, к бегству из Стамбула его побудило еще одно обстоятельство: чрезвычайное положение. Власть в стране оказалась в руках военной диктатуры, и на одном из мостов, соединявших европейскую и азиатскую части города, болтались на красивых двухрожковых фонарях, в устрашение и назидание всем, десятки повешенных.

Беньямина точно магнитом тянуло к ним. Там были мужчины и женщины, и все они висели в каких-то невероятных, неестественных позах. Но подойти близко ему не дали солдаты. Они потребовали, чтобы он предъявил документы, а увидев норвежский паспорт, страшно обрадовались

и стали с гордостью показывать ему свои винтовки. На них Бенъямин прочел: **КОНГСБЕРГСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД.**

Если подумать, не так уж трудно разобраться в Бенъяминовой болезни: ее можно отнести к одной из форм аллергии.

Он был из тех семисот с чем-то норвежских евреев, которых во время войны угнали в Германию. Сам он, впрочем, родился лишь осенью 1942 года и это долгое путешествие проделал во чреве матери. Бенъямин родился в Освенциме. Если бы не свойственная немцам дотошность и аккуратность, у него могли бы возникнуть из-за этого серьезные осложнения. А его записали в архивах — под настоящей фамилией, с правильной национальностью — незадолго до того, как родителей отправили на казнь.

Бенъямин был в числе немногих, кто остался в живых после экспериментов, проводившихся в те годы немецкими учеными над младенцами. И в этой связи мы позволим себе напомнить о наиболее злонамеренных опытах, таких, как замена кровеносных сосудов, переливание крови других групп, пересадка кожи, замораживание с последующим оживлением, в том числе при помощи электрошока и раздражения половых органов, наполнение желудка холодной водой для определения порога боли, которую способен вытерпеть человек, прежде чем потеряет сознание, и так далее и тому подобное. После войны была создана комиссия, включавшая ученых-медиков с мировыми именами, для выяснения научных целей этих экспериментов, которые проводились также и на взрослых. Никакой научной ценности обнаружить не удалось.

У самого Бенямина мало что сохранилось в памяти из его пребывания в концлагере. Во всяком случае, ничего конкретного. Только расплывчатое впечатление нескончаемой боли и ощущение, что он тонет.

Впрочем, ему запомнилась одна фамилия. ШЛЕЙЕР! Как она возникла в его мозгу, откуда, он объяснить не мог, но она ассоциировалась со словами МЯСНИК и БОЙНЯ. Эта фамилия сопровождала его все чудовищное детство, которое представлялось ему в виде длинного темного тоннеля.

Ему мерещилось, что он едет по этому нескончаемому тоннелю на поезде. По сторонам на протяжении всего пути висели зловещие, порожденные бредовой фантазией фигуры, с искаженными лицами, что-то кричавшие ему. Несколько раз среди этих душераздирающих видений возникали его родители. Они висели на горящих крестах, над их головами было готическим шрифтом выведено: ШЛЕЙЕР, № 472 844. Эти кошмары продолжались иногда неделями, и каждую ночь ему виделось одно и то же, точно он ездил по кругу. Просыпался он, неизменно слыша полные ужаса крики родителей с горящих крестов. Родители зывали:

— Господи! Избавь нас от мучений! Мы уже столько натерпелись!

Родители Бенямина, скорее всего, умерли сравнительно быстрой смертью, но сам он, очевидно, не раз испытал эти мучения. Выжить ему, правда, удалось, но что с того?

Выжил он чудом. В 1944 году его спасли из рук палачей шведы, обменяв на оружие.

Он так и не нашел объяснения этому слову из черной магии — ШЛЕЙЕР. Однако оно, как фабричное клеймо, сопровождало его во всех странстви-

ях, пока фамилия ШЛЕЙЕР вдруг не замелькала в газетах мира.

— В сорок первом я с родителями отправился в туристическую поездку по Германии, — доверительно улыбаясь, с убеждением в голосе, точно "картофельный пастор"¹, рассказывал Беньямин Хельге Хауге. — Мы катались в свое удовольствие, осматривали достопримечательности, пока в один прекрасный день мои родители вдруг не умерли от какой-то отравы. Меня же отправили домой за счет консульства.

— Я, Хельге, позже был в Западной Германии. Побывал я и на туристских базах, вроде тех, где мы отдыхали. Там теперь все очень красиво, Хельге: разбит парк, чудесные зеленые газоны окружают чистенькие, ухоженные домики. А над воротами по-прежнему висит эта прописная истина: "ARBEIT MACHT FREI!" — чтобы охрана и посетители не забывали, где находятся. Мне кажется, Хельге, из всех народов мира одни только немцы не хотят стереть эти места с лица земли. Понимаешь, они нужны немцам как воздух, вот почему они разбивают парк — пусть люди в тишине и спокойствии выгуливают своих собак. А на выходе тебя встретит надпись: "AUF WIEDERSEHEN!"

— Что это значит? — спросил Хельге Хауге.

— До свидания! — отвечал Беньямин.

Этот рассказ на мгновение лишил Хельге Хауге дара речи, наполнив его негодованием. Ему тоже пришлось хлебнуть лиха во время войны. И он простодушно, как ребенок, спросил:

¹ "Картофельными пасторами" называли в XVIII в. священников, убеждавших крестьян разводить картофель, в те времена культуру еще экзотическую.

— А родители? Если я правильно понял, они погибли в газовой камере? Это ужасно!

— Ну конечно, они погибли в газовой камере. И остальная семья тоже. Нас было на усадьбе девять душ, не считая меня, еще не родившегося.

— С каким же ощущением ты приехал на родину? Впрочем, ты, наверное, не помнишь?

— Ну уж извини, Хельге, такое не запомнить! Я ведь попал в местечко не приведи господи. Кажется, это называется из огня да в полымя? Так оно и было! Другого выражения не подберешь. Я остался круглым сиротой, даже без дальних родственников, и меня отправили в детский дом.

Но, понимаешь, Хельге, на самом деле это оказался не детский дом, а еще один концлагерь. Все мы были дети войны, начиная от девочек-немок и кончая мной, в общей сложности двадцать две крохи, которых держали в двух комнатах на втором этаже какой-то халупы на опушке леса и потчевали объедками, березовыми розгами и проповедями о спасении души. Ты, конечно, слышал истории про самоотверженных вдов, которые с божьего благословения и на государственные средства берутся приютить незащитных сироток? Так вот, вдова Русенкранц и относилась к числу этих дам. Это была суцая ведьма! В глубине души она наверняка жалела, что не дорвалась до нацистских камер пыток. И как истинная лютеранка, она ненавидела вонючих еврейских детей вроде меня. Ведь мои предки распяли Христа! А потому я неделями ходил в обделанных штанах, пока совсем не запаршивел и зад мой не превратился в одну сплошную рану. Представляешь, мы, истоптавшие у вдовы свою первую пару башмаков, должны были нести ответ за деяния

наших предков! И еще мы постоянно отмечали какие-то грустные даты. Нас все время заставляли петь заунывные, жалостливые песни. И фру Русенкранц неизменно ходила в черном платье, с золотым крестом невиданных размеров на плоской груди. Для фру Русенкранц окончание войны явилось прекрасной возможностью для мести, Хельге, для того, чтобы хоть на ком-то отыграться за то, что жизнь и ее безвременно умерший супруг подло обманули ее, не дав ей собственных "милых, чудных крошек".

Не буду читать тебе лекцию по прикладному христианству, Хельге, поскольку ты разбираешься в Библии лучше моего, только скажу, что убежать из проклятого заведения вдовы Русенкранц я начал, еще не выучившись как следует говорить. Я убегал не раз и не два, но меня находили, приволакивали обратно и, вкатив порцию горячих по мягкому месту, сажали на хлеб и воду. У вдовы это было поставлено не хуже, чем в тюрьме! А в помощниках у нее подвизался управляющий школами нашей волости, надеявшийся получить ее унизанную кольцами руку. Он порол меня, а сам, по-отечески грозя указательным пальцем, приговаривал:

— От розги одна только польза! Запомни, мой мальчик: бог облагораживает слабого, умерщвляя его плоть!

Потом меня сажали в пустую бочку из-под воды. Смотреть на мир я мог только через крохотную щелку, и я обливался горячими слезами, я так рыдал, что мне даже сейчас больно вспоминать об этом, Хельге. И должен признаться, я топтал ногами ее могилу и, чертыхаясь, говорил: если на небе действительно существует рай и вдова Русен-

кранц оказалась среди избранных богом, то я предпочитаю попасть в ад! Из всех, кто вырос у вдовы, только двоим, в том числе мне, не была уготована дорожка в преступники. И это чистая правда, Хельге!

— А твоя усадьба? Ее-то ты в конце концов получил? — спросил Хельге Хауге, чтобы хоть чем-то отвлечь Беньямина. Говорили, что у их семьи была хорошая, большая усадьба.

— До моего совершеннолетия заботу об усадьбе возложили на некий опекунский совет, — с иронической усмешкой ответил Беньямин, — и он преспокойно дал ей, так сказать, сгнить на корню. Ну и, сам понимаешь, нашлись в округе крестьяне, не гнушавшиеся лишним куском земли. Так что, когда я приехал туда, без какого-либо имущества, без денег, без опыта, я понял, что мне остается лишь как можно скорее спустить все и отваливать.

— Что ты говоришь? Неужели ты продал усадьбу?

— Конечно, продал! Получил за все про все — за участок, за дом с утварью, за службы и угоды — свои несколько десятков тысяч и был рад-радешенек, что уношу ноги от этих подонков. Они ведь, как потом выяснилось, приложили руку к нашей отправке в Германию, и для них я был вроде выходца с того света. Я и сейчас помню их сочувственные лица. А деньги я пустил на женщин и на водку и целый год прожил в состоянии полной отключки.

Хельге Хауге знал, что Беньямин пьет. По пятницам, в день получки, Беньямин, свеженький и в выходном костюме, покидал квартиру, которую снимал, и с туго набитым бумажником направлял-

ся в кафе "Гранд". А там вокруг него начинали увиваться девицы, соблазняя его своими задами, грудями и прочим, и Бенъямин заводился и не мог остановиться, пока бумажник не опустеет. Нередко он забегал к Хельге Хауге перехватить "со-тенку на еду и выпивку" — собственно, на этой почве они и подружились. Уж кто-кто, а Хельге Хауге, моряк до мозга костей, прекрасно знал, как это бывает. Сам сколько раз оказывался в подобном положении, даже уже обзаведясь семьей и сидя по уши в долгах. И теперь было всего лишь справедливо выручить Бенъямина, как когда-то выручали его.

Но Хельге Хауге не только поэтому дорожил дружбой с Бенъямином. В жизни, в судьбе механика было что-то невыразимо печальное, хорошо знакомое Хельге Хауге по собственному опыту, но вызывавшее острую боль, если он наблюдал это у других. Человек без семьи, друзей, добрых знакомых, человек без национальности, хотя и имевший норвежский паспорт. Человек, над которым измывались как хотели первые пятнадцать лет жизни. Это была история беспримерных страданий. И все же Бенъямин держался. Не просто держался, а работал лучше других в бригаде Хельге Хауге. Каких усилий это должно было ему стоить? Хельге Хауге его собственное благополучие тоже досталось ценой определенных жертв. Однако разве они могли сравниться с тем, что пережил Бенъямин? В Бенъямине воплотилась сама истина, сама реальная действительность.

— Мы столкнулись с реальной действительностью, увидели ее страшное лицо, — рассказал однажды старый Эйнар, — когда еды в доме не осталось ни крошки, когда мы без единого слова подь-

ели все отбросы. Куры тоже голодали, и среди них распространился настоящий каннибализм. Они начали поедать самих себя, а мы ничего не замечали, пока куры не стали одна за другойдохнуть. И тогда глубоко под крылом, в месте, которое у людей называется подмышкой, мы обнаружили у кур крохотное отверстие. Оказывается, они продалбливали клювом дырку и съедали собственные кишки.

— Я познал истину, — объяснял Бенъямин, — лишь когда прочел в газетах о похищении Ганса-Мартина Шлейера группой Баадера-Майнхоф. Тогда-то и раскрылись все подвиги этого бывшего эсэсовца.

А я никак не мог понять, откуда у меня в голове засела эта фамилия. Для меня она просто олицетворяла злые силы, с которыми я столкнулся, горящие кресты с распятыми родителями, холодную воду, в которой топили меня. Но Шлейер, оказывается, был специалистом Лебенсборна¹, ему нравились светловолосые дети. И когда я увидел в газетах его фотографию, это жуткое лицо, напоминавшее одновременно свиное рыло, морду бульдога и лицо неандертальца, я пришел в ужас от сознания того, что он, этот зверь, это чудовище, по-видимому, принимал роды у моей матери, Хельге. Этому патологическому негодяю, этому кровожадному вампиру, этому первобытному человеку из дремучих германских лесов я, очевидно, обязан своей жизнью.

Теперь ты понимаешь, Хельге, почему я тогда три недели не появлялся на работе.

Такова была реальная действительность.

¹ Гитлеровская организация, ставившая своей целью "выведение" детей "чистой арийской расы".

И она была настолько сурова и беспощадна, что Хельге Хауге много дней не покидало ощущение страха перед самим собой. Ведь что случилось с миром? Мир жил только ради денег, в мире царили несправедливость и коррупция. Вокруг почти невозможно было найти человека с незапятнанной репутацией. Человека с чистыми руками. И тем не менее сохранились отдельные люди, верившие в мораль, порядочность и свободу. Опять Содом и Гоморра, и Хельге Хауге прекрасно понимал того, кто стер с лица земли эти два города, в которых не оказалось ни одного истинно верующего.

И все-таки нужно жить дальше, говорил он себе, нужно бороться, как мы боролись в молодости, когда были полны единоклассничества и боевого духа. Тогда была и мораль, тогда были энтузиазм, радость и твердая вера в прогресс и политику. Но куда делись силы? Куда ушла молодость? Эх! Хельге Хауге многое бы отдал за то, чтобы вернуть те времена, чтобы вновь пережить те знаменательные для себя мгновения. Бедняки и плебеи, они тем не менее поднялись тогда на борьбу и стали прокладывать путь к социализму. Однако социализма они не добились. Он проскользнул у них между пальцев, ушел, как вода через решето. В чем они допустили ошибку?

Нет, дорогой мой Хельге, тебе никогда не узнать действительного положения вещей, думал Хельге Хауге, никогда не узнать во всей полноте правду о нашем поражении. Тебе просто не дожить до того времени, когда она станет известна. Потому что земля забирает своих детей к себе. Зазвонят колокола, и твоя жизнь тоже будет сронена с землей, чтобы уступить место новым жизням. Так-то вот!

Но тебе рано ставить точку. Мало ли что еще может случиться. Пока человек страдает, он живет!

А что с Бенямином? История его жизни не кончена.

— Я в свое время тоже предпринимал смелые шаги, — рассказывал он. — Списавшись после десяти лет морской службы на берег, я с вещмешком и парой чемоданов подался к своему народу — начал работать в кибуце¹. И что, ты думаешь, я там обнаружил? Ха-ха-ха! То же самое рабство, то же дерьмо и ту же ошибочную веру в насилие, террор и принуждение, что и в других местах.

Те, кто верховодил всеми, наживали кучу денег, которые они тратили на поездки в Европу или Америку, и жили они в хоромах, сильно отличавшихся от домов барачного типа, где ютились рабы. На словах — коллективизм и равенство, а на деле — труд ради обогащения заправил. Та же старая песня, Хельге.

Мы занимались разведением рыбы, и мне было поручено кормить ее. Пруды находились в районе оккупированных Голанских высот, в красивой зеленой долине с пальмами, раскидистыми смоковницами и апельсиновыми деревьями. Мне повезло, потому что я целыми днями работал один и мог сколько угодно предаваться размышлениям, любуясь игравшими в прозрачной воде рыбками.

Но на обратном пути меня начинали одолевать дурные мысли. Я думал обо всех, кто притащился за тридевять земель в надежде обрести в кибуце цель жизни, то, во что стоило верить, ради

¹ Сельскохозяйственный кооператив в Израиле.

чего стоило работать, а их ожидало здесь рабство и неоплачиваемый труд. Здесь не было ничего похожего на равенство и братство. Лишь капиталистическая жажда наживы и фанатичная, ортодоксальная религиозность. Не случайно многие вскоре уезжали, разочарованные, уставшие и без гроша в кармане.

Женщины или руками и ногами отбивались от мужчин, или легко уступали им, как это бывает на кораблях. Часть народа позволила околдовать себя древними ритуалами и сионистскими проповедями. И вот, поверишь ли, начали складываться секты, от мормонов до последователей шаманства, медитации, астрологии, стремления к долгожительству и, наконец, совершенно безумной идеи пришествия нового мессии. Все как один мнили себя Иоаннами в пустыне, они крестили друг друга и считали, что прокладывают дорогу Спасителю. В основе этого лежало стремление выдержать подневольную жизнь в кибуце. Там собралась молодая люди, которым необходимо во что-то верить, и верить всеми фибрами души, неважно во что. Понимаешь, они были самолюбивы и ни за что на свете не хотели возвращаться в Штаты или в Европу, под крылышко реакционно настроенных мещан-родителей. Лучше уж поддаться организованному безумию, только бы подальше от дома. И надо сказать, до известной степени это помогало, скорее всего потому, что таких групп коллективной терапии было достаточно много и каждый мог выбрать себе по вкусу. А в коллективе их индивидуальная болезнь как бы стиралась, поскольку все они были малость чокнутые. Стирались границы нормальности, и больные могли предаваться разгулу нераспознаваемого сумасшествия. Как

сказано в Писании: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!"

И это еще не все. Израиль находится в самой середине оставленной войной незаживающей раны, которую постоянно расковыривают штыками некоторые государства ради поддержания своей военной промышленности. В результате крохотная страна, какие-нибудь четыре миллиона человек, с помощью фанатичных идей выживших из ума стариков создает угрозу безопасности всего земного шара. Миром правят деньги, Хельге. Деньги, деньги, и еще раз деньги. Они правят и экономикой, которая стала теперь основной проблемой Израиля, поскольку наступил очередной экономический кризис. Единственная надежда для Израиля — что новое поколение молодых марксистов сумеет дать отпор реакционной клике Бегина—Даяна, прежде чем она перевернет вверх ногами все на свете. Ведь эти фанатики, Хельге, утверждают: если им не удастся заключить мир с арабскими странами на продиктованных Израилем условиях, они развяжут новую войну и уничтожат все нефтепромыслы на Ближнем Востоке. Я слышал это собственными ушами, дорогой мой Хельге: дескать, если Израиль проиграет войну, это повлечет за собой уничтожение богатств арабского мира.

Вот что притягивает сюда некоторых молодых людей. Их привлекает перспектива быть, так сказать, в центре капитализма. Здесь и последний дурак проникается сознанием собственной важности, ему есть что написать домой, изобразив свою жизнь полной увлекательных приключений.

Но поверь мне, Хельге, я там посмотрелся такого, что волосы дыбом вставали! Приходит однажды наш бригадир и объясняет, что, мол, после

обеда он не выйдет на работу, так как у него умер близкий человек. "Это очень печально, — почувствовал я. — С кем же несчастье?" — "Да с Деборой! — в слезах отвечает он. — Она решила выйти замуж за австрийца, а он не принадлежит к нашему народу ни по крови, ни по религии. Я этого не переживу!" — И он зарыдал, точно наступил конец света.

Я не мог поверить своим ушам, Хельге! Надо же такое придумать! Объявив дочь умершей, они устроили ей символические похороны.

Это уже было слишком. Я целый вечер просидел, размышляя о сумасшедшем доме, в который я, оказывается, попал. Я вспоминал тех, кто, покинув свою страну, вскоре возвращался обратно или ехал в Штаты, в Канаду. Они быстро раскусили здешний мир, в отличие от других, в отличие от меня.

Я почувствовал себя узником, пациентом психушки. Я чуть было не закричал от вспыхнувшего во мне дикого, непреодолимого страха, что меня не выпустят отсюда. И в этом полубезумном состоянии я собрал вещи, повесил на шею бумажник с деньгами и паспортом и, подехав на грузовике до границы, отправился пешком в Иорданию.

Обезоруженный, подавленный, разочарованный и ожесточившийся, я не знал, к чему себя применить. И я мотался по Ближнему Востоку наудачу, без всякой определенной цели.

Но, как ты знаешь, моряки быстро забывают разочарования, и вскоре жизнь пошла своим чередом, снова было вино и девочки. Я открыл для себя, что арабы — народ чрезвычайно простой, заботливый и благодушный. Мне было приятно среди них, и я с удовольствием пользовался их госте-

приимством, поскольку чувствовал себя спокойно и уверенно. Особенно хорошо мне было в Каире. Чудесный город. Ни в одном другом городе земного шара нет такого сочетания прошлого с будущим, как в Каире. Я подружился там с неким скульптором. Этот забавный человек встречал меня у себя в Замалеке в пижаме. Его мастерская находилась на крохотном островке посреди Нила, и каждый вечер он садился на берегу и смотрел на медленно текущую воду, которая и сегодня является для Египта единственным, помимо солнца, источником энергии.

Этому скульптору больше всего нравились акулы, и все его произведения были посвящены им, о чем свидетельствовала и мастерская. Кругом были сплошные акулы. Их плавники, челюсти и акулы целиком — в виде чучел или скульптур, созданных его руками. Эти изображения хищника были чудовищны, они могли кого угодно напугать до смерти. Вот в этом доме, Хельге, я отнюдь не чувствовал себя уютно. Кругом одни плавники и острые, как пила, зубы!

Скульптор был человеком разочарованным, и, пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что он ненавидел мир за его нечестную игру. Его любовь и уважение вызывали лишь живущие в пустыне бедуины. "Это чистые, неиспорченные люди, — говорил он, — я их тебе обязательно покажу!" — "Наверное, вроде наших цыган?" — спросил я, не придавая особого значения своим словам. "Что ты, что ты! — возмущился он. — Цыгане живут в городе и посылают женщин с детьми побираться на улицу. А бедуины живут в пустыне, им, как морякам, приходится выдерживать натиск непогоды. Там они отыскивают себе пропитание, там

рожают своих детей и умирают. Мир погибнет, но бедуины вместе со своими выносливыми, неприхотливыми верблюдами обязательно выживут!”

Однажды он взял меня с собой в рыбацкую деревушку на берегу Красного моря ловить песчаных акул. ”Здесь я добыл многие из своих скульптур”, — объяснил он. И говоря ”добыл”, он имел в виду ”выловил голыми руками”. Зайдя по пояс в воду, он начал разбрасывать кусочки мяса, и буквально через несколько минут воду вокруг него уже рассекали первые акулы плавники. ”Это что! — сказал он. — Ты бы посмотрел их в период размножения! Тогда они льнут, ласться к тебе, как малые дети”. — ”А с какой силой сжимает акула челюсти?” — спросил я. ”Около трех тонн на квадратный сантиметр! — признался он. — Но могу тебе сообщить, что хорошая немецкая овчарка обладает силой в одну тонну”, — добавил он для сравнения.

Мы много говорили о скульптуре, и он водил меня по Каиру, показывая памятники прошлого и современные произведения.

— В скульптуре, как в политике, — сказал он однажды, — есть элементы реакционные и прогрессивные. Или, если угодно, разрушительные и созидательные. Возьмем пирамиду Хеопса. До прошлого века это было крупнейшее сооружение в мире. Произведение созидательного искусства, сотворенное пять тысяч лет тому назад. Произведения разрушительного искусства мы находим в памятниках войны. Например, в Хиросиме или у нас, в Порт-Саиде, — обгорелые руины, говорящие нам, что искусство служит теперь не на благо людей, а против них. Оно будоражит и устрашает, как донельзя грубая и жестокая сказка, рассказанная невинным детям.

— А твои скульптуры акул? — спросил я. — Они хорошие или злые?

— Злые! Конечно, злые! И я хочу воздвигнуть при входе в Суэцкий канал акулю пасть высотой в сто пятьдесят метров, с десятиметровыми зубами, чтобы израильтяне поняли: следующая война на Ближнем Востоке будет последней. Наш народ воюет с ними уже тридцать лет. Страна разорена и обескровлена, люди озлобились. Насилие порождает дикарей. Ни одного фунта на искусства, ни одного фунта на образование и просвещение. Все средства поглощает военная машина. Но народ с древними культурными традициями не может жить войной. Война всегда означает конец, конец длительному и победоносному движению вперед, а этих израильтян мы четыре века привечали у себя, спасали от голодной смерти и рабства, обучили грамоте, познакомили с нашим искусством, наукой и философией. А потом они бежали, прихватив золото из пирамид. И вот они снова здесь и хотят сокрушить все!

Практицизм нередко берет начало в религии. И чем изощреннее религия, тем изощреннее практицизм.

Я решил перебраться в Бейрут. Мой друг рассказал мне об ожидавшихся там в ближайшее время событиях, и меня потянуло туда. Однако, когда наш самолет приземлился в Дамаске, его вдруг задержали. И мне пришлось добираться из Дамаска в Бейрут на такси. А в Бейруте случилось так, что я повстречал одну пышную американку, которая попросила меня помочь ей переправить в Рим пару килограммов гашиша.

— Превосходный ливанский гашиш! — сказала она, и я, не долго думая, согласился и запихнул эту дрянь в чемодан.

И вот мы с ней стоим на аэродроме, имея в чемоданах по килограмму гашиша, и ждем, когда нас будет досматривать полиция, которая в тот день, естественно, была приведена в состояние боевой готовности, поскольку распространились слухи о подброшенной бомбе.

— Обычная проверка! — сказал офицер, открывая мой чемодан, и не прошло и десяти минут, как и сидел за решеткой. А толстушка, ясное дело, с улыбочкой проскочила досмотр, как это умеют женщины, и испарилась.

В ожидании суда я просидел месяц в предва-риловке. Мой адвокат убедил меня, что я отделаюсь легким испугом и что в связи с ухудшени-ем обстановки в стране меня просто вышлют. Вот почему приговор — полтора года тюремного за-ключения — был как гром среди ясного неба.

Камера, в которой сидело в общей сложно-сти двадцать с лишним человек, представляла со-бой прямоугольную герметичную коробку, бомбо-убежище без окон и дневного света. Это было за-крытое отделение ливанского сумасшедшего до-ма, и условия здесь, в сущности, мало чем отли-чались от тех, с какими я столкнулся в Израиле. Будучи заключенными, мы в то же время остава-лись людьми, будучи преступниками, проявляли больше человечности, чем страдавшие манией ве-личия политиканы, по вине которых творились массовые убийства вокруг. Из этой компании у нас был только один, входивший, как дознались агенты, в террористическую организацию. Бедня-га был совершенно ненормальный, параноик, ка-кими часто бывают террористы, и своими безум-ными выходками он просто вынимал из нас душу.

— Ха-ха-ха! — истерично закатывался он. — Вы

что, серьезно рассчитываете выбраться отсюда живыми? Ха-ха-ха! Нет, не видать вам свободы! Негодяи проклятые! Ха! Да отсюда ни одна сволочь живьем не уйдет! Скоро начнется наступление, и мы все полетим вверх тормашками!

В его сумасшествии было что-то отталкивающее. Однако ты сам понимаешь, как складывается жизнь в камере. Вскоре мы привыкли к тому, что он сидит в своем углу и кликушествует, и почти перестали обращать на него внимание. У нас хватало собственных забот.

Каждый заключенный имел свой матрас и покрывало. Спали мы головами к стене, вытянув ноги в узкий проход. Человеку, привыкшему за десять лет к собственной каюте, тут было не слишком уютно.

И еще эта проклятая сырость. Забираешься под свою попону и чувствуешь, как тело исходит потом, и знаешь, что от влажности будешь плохо спать и мерзнуть во сне, и тем не менее считаешь, что тебе крупно повезло, потому что по крайней мере за ноги не кусают крысы, — все это входило в прелести долгосрочного тюремного заключения. И я, уже испытавший на своей шкуре Освенцим и имевший предрасположенность к ревматизму, пытался кое-как прикрыть свое застывшее тело и с вождением вспоминал раскаленную железную печурку на кухне вдовы Русенкранц. Можешь мне поверить, Хельге, ночи тянулись столь же бесконечно долго, как и дни, когда я старался избавиться от ревматизма, прыгая в проходе через веревочку.

А потом, понимаешь, началась война, и мы сидели в голых стенах при чахлой лампочке днем и стеариновой свече ночью, прислушиваясь к вою

снарядов наверху. Это христиане обстреливали палестинскую часть города.

Среди заключенных поднялся переполох, все ввали в буйство. Лично мне это напомнило Освенцим. Мы начали кидаться друг на друга, лезть на стенку, как это делают узники концлагеря, поняв, что им не выбраться, что их ожидает смерть.

Всех точно охватил приступ малярии. Полное ощущение реальности, и в то же время горячка с бредом. Христиане пели, арабы ползали по проходу на коленях, громко взывая к аллаху, половая активность, которая до сих пор протекала еще в каких-то рамках, теперь расцвела пышным цветом. Пришла гибель, и тот, кто не предавался этому безумству раньше, мог, пока не поздно, наверстать упущенное! А террорист в своем углу пророчески хохотал холодным, глухим смехом. К этому времени у нас появился один американец, надеявшийся, что его американский паспорт гарантирует ему скорое освобождение. Однако по мере того, как время шло, а его почему-то не выпускали, он все больше и больше впадал в религиозный экстаз и в конце концов заявил, что по выходе из тюрьмы хочет не жениться, как собирался, а, напротив, стать священником или, того лучше, монахом. Он до смерти всем надоед, пытаюсь вразумлять заблудших и негодуя по поводу того, что его вынуждают быть свидетелем этого разврата. Он даже пожаловался надзирателям, в результате чего у нас отобрали свечки, и ночи сделались еще темнее и безумнее, чем прежде. Просто удивительно, что его не придушили за предательство.

Еще мне запомнился молодой англичанин, аккуратный и коротко постриженный, как все представители его нации. У него нервное напряжение

отразилось на желудке, и он страдал запором. Однако он не решался никому признаться в этом, и лишь когда живот раздуло до размеров большого барабана на демонстрации 17 мая, а боли стали такими нестерпимыми, что их нельзя было скрывать под попоной, ему вкатили самую обыкновенную клизму — и во все стороны, точно извержение вулкана в канализационном отстойнике, брызнула кислая похлебка, на которой нас держали. О, что это был за запах! И никаких тебе окон, никакой вентиляции! Мы бы предпочли провалиться в преисподнюю.

О гигиене, конечно, не могло быть и речи. Честно говоря, я даже удивлялся, что у нас так долго не было вшей. Зато когда они завелись, я одним из первых подставил свою голову под гигантские ножницы, которыми нас пришли стричь.

Однако голые черепушки внесли в нашу жизнь полную неразбериху. Люди точно переродились. Почти все резко изменили свои взгляды или стали вести другой образ жизни. Прежде всего это отразилось на американце, Пате. Его богобоязненность увяла, так же как и его морализаторство, зато теперь он проклинал бога не хуже самого отъявленного атеиста и тоже начал агитировать за терроризм.

С Гансом Швабом произошла та же история. Присущий ему грубый антисемитизм вдруг сменился восхвалением евреев, причем в тонах, достойных по своей торжественности арийской музыки Вагнера.

Наши развратники разделились на две группы. Одна стала восторженно поклоняться Кришне, а вторая образовала коммуну группового секса и начала принудительную вербовку членов.

Лишь палестинцы и арабы восприняли "стрижку овец" со свойственной им невозмутимостью. Их, правда, смущало, что при такой голове ни одна девушка на свете не согласится пойти с ними в кино. Но волосам ведь недолго и отрасти, утешали они сами себя. И снова успокаивались.

Я потерял счет времени, однако надзиратели сообщили мне, что я сижу год и восемь месяцев. Но меня приговорили к полутора годам, а всех обычно освобождают досрочно, удивился я. На это они только грустно покачали головами и ушли. К собственному изумлению, я больше не поднимал этого вопроса. За стенами тюрьмы свирепствовала война, внутри царило полное сумасшествие, так что я смиренно поплелся к своей берлоге и укрылся в ее крошечной бездумной тьме.

И тут пришла свобода.

В мгновение ока мы все повскакали на ноги. Больница над нашими головами рухнула, точно карточный домик, и мы, как будто нас привели в чувство ушатом воды, стояли навтыяжку без тени безумия в глазах и смотрели, как под бурные аплодисменты молодых палестинцев, взявших приступом тюрьму, распахиваются двери камеры.

"Freedom for all!"¹

На улице ожидали три больших грузовика, и нас посадили, как солдат, лицом друг к другу и повезли под треск салютовавших нам автоматов. А потом буйные молоденькие партизаны посылали к нам одну толстую ливанку за другой, и, когда я через пару часов добрался до бейрутского "Хилтона", я был без сил.

¹ "Свобода для всех!" (англ.)

Насколько не похожи мои переживания и впечатления на то, что испытал Беньямин! — думает на ходу Хельге Хауге. Его жизнь, со всеми ее страданиями, тем не менее представляет собой нечто интересное, из нее складывается какой-то пейзаж, а я точно бродил по пустыне. Если его потянула в море любознательность, то у нас просто не было выбора. Вот почему мы смотрели себе под ноги, а он смотрел вперед и вверх, и притом глазами, которые умели видеть суть вещей. Мы же этого не умели. Нам постоянно приходилось ждать. Ждать, пока кто-то разберется, кто-то даст указание. И как часто мы слушались слов, которые на поверку оказывались не истиной, а наглой ложью!

Для Беньямина даже работа имеет иной смысл. Без работы он не представляет жизни, в то время как для меня работа всегда была лишь средством добыть пропитание для себя и своей семьи.

Семья, вечно эта семья! Но к чему в конечном счете сводится семья? Она ведь тоже является частью общего распорядка, лишь растянутого надолго, не на один день. Это всего лишь форма, как и многое другое. Наковальня, на которой куется податливое железо. Да нет, и того хуже! Все наше поколение — сплошные бараны. Беньямин, как бы тяжело ни было его бремя, свободный человек, который может в любой момент сняться с места. Он в некотором смысле не подвластен общему распорядку, зато мы, другие, стоим, как свиньи, в своем закуте и ждем, когда нас выведут, накормят и помогут, а иначе мы, пожалуй, погибнем или начнем поедать друг друга.

Мы — старики, и мы должны уйти, так написа-

но в стихотворении Винье¹, а мы оцениваем свою жизнь и свой опыт по календарю. Мы подсчитываем дни, месяцы и годы, как будто мудрость и понимание приходят в наши немощные тела сами по себе. Разве мы не придаем значение каждой морщине, не требуем преклонения перед ней, утверждая, будто в морщинах сконцентрирована мудрость наших несчастных жизней? А на деле? Какова наша истинная ценность в день расставания с жизнью? Надолго ли останется от нас след после того, как насыплют холмик, утрамбуют землю над нашими гробами? Нет, жалкие мы все-таки человечки, и в могилу мы сходим со всей своей бесхребетностью, отсутствием внутреннего стержня. И при этом еще глупо улыбаемся. Не зря молодежь смеется над нами!

Вот почему годы бегут, а для нас время точно застыло на месте: мы ведь не умеем видеть. Мы стареем, потому что измождены работой, мы стареем, потому что мы — горняки, пескоструйщики, сварщики — до мозга костей пещерные люди, равным счетом ничего не знающие о земле, по которой шагаем, и потому нам нужны поводыри.

А Беньямин свободен. Свободен, так как ему есть на что опереться. У него есть идея, и она помогает ему противостоять системе, которую я вместе со своим поколением должен защищать. Вот почему ему легче. Вот почему он может отстаивать свои идеалы. Вот почему он может запросто разбить мир на мелкие кусочки без каких бы то ни было нежелательных для себя последствий. Осколки за него подберет совок.

¹ Осмунн Улафсен Винье (1818—1870) — норвежский поэт и журналист.

— Тебе совсем заморочили голову, ты непоколебимо веришь, что начальство всегда право, — рассердился однажды Беньямин, услышав от него: "Небось в Осло знают, что делают". — Для тебя звезда где-нибудь посередине черного космоса значит больше, чем красный шарик на первомайской демонстрации на Юнгсторгет, так получается?

Слова резкие и саркастические, однако по зрелом размышлении Хельге Хауге вынужден был признать их справедливость.

Человек, не имеющий ясного представления о мире, а уж тем более идеи — я хочу сказать, какой-то новой идеи, а не стариковской, — счастлив и доволен лишь в силу того, что не осознает собственного невежества. Для него через незнание, необразованность и тупость лежит дорога в рай, и упаси бог пытаться сбить его с этого пути!

Иначе обстоит дело с теми, кто привык пропускать все через себя. С теми, кто не может не видеть, не может не чувствовать, не может не думать и не делать выводов, чего бы им это ни стоило. Сколько людей укрываются в сумасшедшие дома из страха покончить с собой, так как не видят иного выхода? А с другой стороны, сколько утонченных, нервных, хрупких, целомудренных натур готовы пострадать во имя либерализма, навивая неврозы, лишь бы только доказать миру, что они тоже не бесчувственны? Одни находятся с одной стороны, то есть на свободе, другие — с другой. Они разделены стеной. И эта стена — реальная действительность, истина.

Но кто же в своем уме? Кто здоров? И где они, эти здоровые? Коммунист должен постоянно быть начеку. Он должен остерегаться всех, потому что

он выступает против всех. Потому что он не может погрешить против истины и вынужден признать, что существующий порядок никуда не годится. Вот почему ему приходится остерегаться. Вот почему его отвергают и забрасывают камнями.

Но бывает, и кое-кто из судовладельцев, промышленных магнатов или политиков, виновных в массовых убийствах, пускает себе пулю в лоб. Им-то на что жаловаться, у них-то что за напасти? Объясните мне, пожалуйста. Нелады с женой, импотенция, рак?

А насколько ближе к истине коммунист с его коммунизмом? И ближе, чем кто?

— Мы должны держаться вместе! — решительно говорит Беньямин.

Но Хельге Хауге чувствует себя опустошенным, измученным и старым, абсолютно непригодным для политической борьбы. Рухлядь, да и только!

Хельге Хауге глубоко вздыхает, но тут же улыбается, вспомнив анекдот, который когда-то рассказал Беньямин.

Дело было в доме для престарелых под названием "Солнечный". Сидят однажды Педерсен, восьмидесяти лет, и Хансен, восьмидесяти одного года, и спорят, кто из них сильнее.

— Я сильнее! — кричит Педерсен.

— Нет, я! — пытается перекричать его Хансен.

— Тогда, я вижу, придется нам помериться силой, посмотреть, кто кого пережмет рукой! — не унимался Педерсен.

И они начали борьбу.

Силы у обоих петухов были примерно равные. И ни тому, ни другому никак не удавалось положить на стол руку противника. В конечном счете Хансен

все же победил. Рука Педерсена коснулась стола.

— Вот видишь! — закричал опьяненный победой Хансен. — Я же говорил, что я сильнее!

— Это еще бабушка надвое сказала! — отвечал Педерсен. — Не забывай, что ты на год старше меня, дорогой Хансен. Приходи-ка ты, дружок, через год, и я тебе покажу, где раки зимуют!

История, конечно, забавная. Хельге Хауге хорошо представляет себе этих стариков. А что сказал бы тот, у кого нет сил смеяться? Только в старости человек начинает понимать, что есть жизнь: это долгий одинокий путь к эшафоту. В конечной точке этого пути тебе выдают саван и последнюю сигарету, а потом иди и, мужественно улыбаясь, возлагай голову на плаху.

”Эх! Хорошо тем, у кого еще остались силы и энергия”, — снова вздыхает Хельге Хауге, и ему вспоминается любопытный эпизод из времен работы в Копенгагене, на верфи ”Бурмейстер и Вайн”. Он вызывает на лице Хельге Хауге широкую улыбку: за всю его грешную жизнь столь милые сердцу переживания были редкостью. Из этого эпизода, который он хранил в тайне, он узнал о жизни, о человеческих мечтах, о любви и смерти больше, чем из любой другой истории, слышанной им или вычитанной в книге.

Жили они в гостинице ”Бридж”. Третьего разряда, но вполне приличная гостиница, располагавшаяся на седьмом этаже огромного старинного здания. В немногочисленных номерах жили люди, съехавшиеся в Копенгаген со всех концов света. На этаже была крохотная гостиная, где они завтракали и болтали по утрам или смотрели телевизор вечерами. А в остальное время? В остальное время они спали.

И Хельге Хауге тоже по большей части спал, пока однажды у него не завязалось необычное знакомство.

Лифт в гостинице "Бридж" был почти всегда сломан, и как-то раз, столкнувшись по дороге вниз с элегантно одетой, преклонных лет дамой, которая стояла на третьем этаже и переводила дыхание, Хельге Хауге совершенно машинально задержался и спросил, не может ли чем-нибудь помочь.

— Будьте так любезны, — задыхаясь проговорила дама. — У меня больное сердце, и врач не велел мне ходить по лестницам. Слабое сердце, не выдерживает нагрузки. Но что тут поделаешь? Лифт почти всегда сломан, а в те немногие разы, когда он работает, такое впечатление, будто он, того гляди, сорвется вниз. Я буду вам весьма признательна, если вы поможете мне подняться на седьмой этаж.

— Конечно! — отвечал Хельге Хауге, довольный, что может быть чем-то полезен, и взял даму под руку.

Она действительно была очень слаба, это чувствовалось, да она и не скрывала этого, и с улыбкой на тонких губах оперлась на его руку.

Они шли не торопясь, останавливаясь на каждой площадке.

— Я слышу, вы норвежец! — сказала она. — Этот язык, когда его знаешь, не спутаешь ни с каким другим. Я, собственно, сама норвежка, хотя почти всю жизнь провела в Швеции и Дании. У меня муж швед, а работал он здесь, в Копенгагене, поэтому все годы нашего супружества мы так и кочевали из одной страны в другую. Кстати, что вы делаете в Копенгагене? — поинтересовалась она.

— У меня тут временная работа, — отвечал Хельге Хауге. — Я в бригаде маляров у "Бурмейстера и Вайна".

— Что вы говорите! — вежливо заметила она, не подавая вида, насколько далеко это от ее собственного мира. — Ну, вот мы и добрались.

И они вошли в номер.

Дама с облегчением опустилась в глубокое кресло. Хельге Хауге присел на краешек кровати в ожидании, когда она придет в себя и можно будет спросить, не требуется ли еще какой помощи.

Внезапно лицо ее просияло, точно она ощутила прилив энергии, и она с подъемом сказала:

— Нам просто необходимо выпить по бокалу хереса! Вы согласны? Я уже вполне пришла в себя. Мне не хватает только бокала хереса. Кстати, как вас зовут?

Хельге Хауге представился.

— Пожалуйста, коль скоро вы еще полны сил, сбегайте вниз и купите нам бутылочку хереса.

Хельге Хауге всмотрелся в ее улыбающееся лицо. Лицо было старое, морщинистое, однако не утратившее красоты. Небесно-голубые глаза, правильно очерченные губы. Волосы, седые и жиденькие, тем не менее живописно обрамляли ее миниатюрную головку, а тонкий женственный носик придавал лицу необходимую завершенность. Отметив все это про себя, Хельге Хауге подумал, что в молодости она, очевидно, была писаной красавицей, если и сейчас настолько привлекательна.

— С удовольствием! — отвечал он. — Сию же минуту принесу бутылку хереса. — И направился к дверям, чувствуя, что повстречал нечто совершенно новое и неожиданное.

Он бежал по лестнице, точно юный воздыха-

тель. Почему, собственно? Что такое зажгла в нем престарелая дама? И чего ждал от нее Хельге Хауге? Он сам этого не знал. Понятия не имел.

Он постучался.

— Это вы, Хауге? — спросила она из-за двери.

— Да, я!

— Входите же! Я умираю от жажды!

И Хельге Хауге вошел в крохотный номер.

Комната изменилась до неузнаваемости. К небольшому столику были придвинуты два стула. На столике расстелена вышитая скатерка, а на ней поставлены два высоких бокала и вазочка со льдом.

Элинору тоже было не узнать.

Волосы ее были уложены в букли, лицо аккуратно напудрено, губы накрашены, а ресницы подмазаны тушью. В ушах были вдеты сережки, на шее — ожерелье из белого жемчуга. Она переодела платье и туфли. Не хватало только белых перчаток. Элинора собралась на бал!

Хельге Хауге не мог сдержать улыбки. Не успел он и глазом моргнуть, как Элинора, чмокнув его в щеку, сказала:

— Вы очень красивый мужчина, Хауге, и настоящий кавалер!

— Между прочим, вы тоже очень даже ничего, Элинора! — отвечал Хельге Хауге, ошарашенно вдыхая аромат ее духов.

— Вы нальете сами, Хауге, или это сделать мне? — спросила Элинора.

— Я с удовольствием поухаживаю за вами. Лед положить?

— Да, пожалуйста! Два кусочка! — отвечала Элинора.

И Хельге Хауге, взяв крохотные щипчики, по-

ложил в каждый бокал по два кусочка льда. Затем он разлил херес.

— Ваше здоровье! — сказала Элинора.

— Ваше здоровье! — подхватил Хельге Хауге.

С этого самого дня они и подружились.

Вернувшись в гостиницу после работы, Хельге Хауге, вымытый и приодевшийся, первым делом стучался к Элиноре.

И она уже ждала его, нарядная и красивая, с неизменной бутылкой хереса, бокалами и льдом. И, выпив пару рюмок, они шли нагуливать аппетит перед поздним обедом, к которому Хельге Хауге через некоторое время привык и который все больше и больше нравился ему.

Однажды, когда они сидели в парке и грызли ванильные сухарики Элиноры, она вдруг сказала:

— Вас, наверное, удивляет, Хауге, почему я, престарелая дама восьмидесяти четырех лет, живу в гостинице?

— Честно говоря, иногда удивляет. У вас ведь есть муж, есть семья, но никто из родственников никогда не навещает вас.

— Все именно так, как вы говорите, Хауге, — многозначительно произнесла Элинора. — Потому что я и сбежала. А дело вот в чем: моя семья, то есть мои дети, больше не жалуют меня, потому что я слишком для них стара. Они, видите ли, считают, что старуху вроде меня нужно сплавить с глаз долой и забыть. Я должна жить в тишине и спокойствии, внушают они мне, я должна уехать из города, потому что я плохо умею переходить улицы, и бог знает что еще они приплетают, только бы от меня избавиться. И вот теперь я им это удовольствие доставила. Ха-ха-ха! Вы, Хауге, порядочный

человек и кое-что понимаете в жизни. Подумайте: выгнать из ее собственного дома мать, а заодно и отца, у которого единственная радость в жизни — копаться в саду. Все это у нас было. И сад, и садовник, и прислуга, чтобы в случае надобности помочь по хозяйству. И вот дети без всяких церемоний договорились о помещении нас обоих в частный дом для престарелых, подальше от Копенгагена, и отвезли нас туда под предлогом, что это дом отдыха. В противном случае ни я, ни мой муж не согласились бы на этот переезд. Мой муж был болен, и они сказали, что ему требуется специальный врачебный уход и они знают место, где этот уход будет обеспечен и где нам будет предоставлена полная свобода, и так далее и тому подобное. Не буду вдаваться в подробности, милый Хауге. В общем, это был дом для престарелых, и нас заперли туда.

Но самое страшное, что моего мужа — его зовут Фредрик, — самое страшное, что, когда мы переехали в этот, простите за грубость, проклятый дом для престарелых, моего мужа вдруг точно подменили. Он стал другим человеком. Он сошел с ума и перестал что-либо соображать.

Я вам больше скажу, Хауге: он даже не понимает, где находится. Он утратил способность к ориентации в пространстве, он не отдает себе отчета, где он и кто он такой. Например, он говорит мне: "Дорогая Элинора! Не пора ли нам собираться домой? Мне так хочется обратно в добрый старый Копенгаген. Здесь, у Черного моря, очень красиво, но, сама знаешь, в гостях хорошо, а дома лучше". И он начинает укладывать чемоданы.

И мне стоит огромного труда втолковать ему, что мы дома и что нам не нужно никуда ехать. "Так мы, оказывается, дома! — радостно воскли-

цает он. — А я-то считал, что мы снова в Констанце. Надо же такое придумать!”

Но только он успокоится по этому поводу, как опять подходит ко мне со словами: ”Дорогая Элинора! Раз уж мы дома, надо чем-нибудь всех угостить!” И он ходит по коридорам и приглашает к нам каждого встречного — сестер, врачей и так называемых больных, раздает направо-налево сигары и сигареты и очень удивляется, почему их не хватает на всех. Вы понимаете, дорогой Хауге, что в конце концов у меня уже не было сил это выдерживать.

Хельге Хауге не знал, как реагировать на рассказ Элиноры. Он жил в совершенно ином мире, поэтому он лишь кивнул головой, видя удрученное выражение ее лица.

— Я-то знаю, — продолжала она, помолчав, — что на него губительно действует сама обстановка. Это больница с присущими ей ограничениями, запахами, сестрами и пациентами, и Фредрик настолько сбит с толку, что потерял всякую ориентацию. Он точно не желает смириться с тем, где находится, и пытается спастись бегством. И я ничем не могу ему помочь, поскольку не решаюсь признаться, что на самом деле мы живем в доме для престарелых. Он этого не перенесет, нет, он этого не перенесет!

И словно для того, чтобы еще больше запутать его, мои негодяи сыновья приставили к нему двух детективов, которые ходят за ним по пятам. Он, так же как и я, обожает дальние прогулки, мы с ним всегда много гуляли, когда жили в Роскилле. Но здесь, в новой обстановке, в этом новом районе с его многоэтажными зданиями и сильным движением, он каждый раз не может найти дороги

назад. Поэтому-то сыщики и не отстают от него ни на шаг, Хауге. Вот он заблудился, и они подскакивают к нему с вопросом: "Простите, сударь, вам куда нужно?" И если он не помнит адреса дома для престарелых, что, впрочем, неудивительно, поскольку он даже не знает о его существовании, детективы задают ему наводящие вопросы и, когда он вспоминает, говорят: "Какое совпадение! Мы идем туда же, не позволите ли составить вам компанию?" И естественно, Фредрик только рад компании, и, когда они наконец добираются до дома, он, сияя, рассказывает мне: "Дорогая Элинора! Посмотри, кого я встретил по дороге. Настоящие джентльмены. Давай нальем им по рюмочке!" — и, обращаясь к сыщикам, спрашивает: "Что бы вы хотели выпить, господа?"

Это ужасно, Хауге. Ведь я прожила с ним долгую жизнь, и для меня унижительно видеть, как его водят за нос, притом собственные дети.

Но хуже всего то, что иногда он перестает узнавать меня. Он стал приударять за молоденькими сестрами и может, ущипнув их сзади, сказать: "До чего же ты красивая, Элинора! До чего же ты красивая!"

И я, дорогой Хауге, страдаю, я ревную, как школьница, и не хочу мириться с этим. Девчонки еще подыгрывают ему, отвечают вроде бы от моего лица, и несколько раз, слыша их наглые, оскорбительные реплики, я теряла терпение и жаловалась администрации. Что, естественно, было абсолютно бесполезно.

Так вот, я позвонила детям и заявила, что не могу там больше оставаться и чтобы они немедленно приехали за нами. Но, поскольку они отказались это сделать, я собрала самое необходимое

из вещей и потихоньку улизнула со своей старой приятельницей. Кроме нее и вас, никто не знает, где я обитаю. Я, конечно, зарегистрировалась в гостинице под вымышленным именем, а здесь никого не интересуют люди, которых кто-то разыскивает, — сами видите, дорогой Хауге, как много тут живет разных чудаков. Ну вот, Хауге, теперь вам известна вся моя подноготная, и я вижу, вы удивлены. Но должна вам признаться, что накануне встречи с вами я уже совсем было собралась покончить счеты с жизнью. Когда мы встретились на лестнице, я шла с приема у своего врача, я спросила у него, что будет, если я перестану принимать таблетки. "Скорее всего, — отвечал он, — вы тут же умрете. Однако твердо обещать этого я не могу. Возможно, вы сильнее, чем нам с вами кажется, и в таком случае вы не умрете, а останетесь инвалидом. Вот это я вам могу сказать точно, фру Бёрс". Поэтому я и не решила прекратить прием лекарств, поэтому я продолжаю существовать в надежде, что все изменится к лучшему и я смогу вернуться к прежней жизни. Но если я на что-то решусь, я вас предупрежу, Хауге. Можете не сомневаться. Вы были таким прекрасным кавалером, проявили столько душевности и такта. Я вам сообщу.

Хельге Хауге отнюдь не считал, что Элинора ему чем-то обязана. Он всего-навсего был рядом. А что в этом особенного? Скорее она отнеслась к нему добросердечно. Она поведала ему свою историю, из которой он сделал вывод, что жизнь никогда не кончается, хотя экономисты, архитекторы, инженеры, налоговые инспекторы, консультанты в отделах социальной помощи и бог знает кто еще не любят старости и пожилых людей, по-

сколько старики, так же как инвалиды, сумасшедшие и больные, напоминают им о чем-то неприятном. Но они не хотят признаваться в этом. Не хотят, и все!

Хельге Хауге помнил последний разговор с Элиной, как будто он произошел вчера.

— А какая у вас, собственно, должность, Хауге? — спросила Элина. И Хельге Хауге, которому нечего было стыдиться, с улыбкой отвечал:

— Должность моя — бригадир.

— Бригадиром в Китае называют председателя Мао. Вы, я надеюсь, не такой? — с интересом продолжала расспросы Элина, и лицо ее осветилось заговорщицкой улыбкой.

— Нет, таких бригадиров на свете немного! — отвечал Хельге Хауге с не менее заговорщицким видом, и оба рассмеялись.

И все же жизнь стала для Элины непосильным бременем. Однажды последние запасы энергии, по-видимому, иссякли, и, вернувшись с работы, Хельге Хауге узнал, что фру Элина Бёрс около полудня скончалась и ее уже увезли в морг. Семья не подавала признаков жизни, чему Хельге Хауге, впрочем, был только рад.

Но сама смерть...

Когда Хельге Хауге было лет семь-восемь, мать каждый вечер приходила в их крохотную детскую и молилась с ними перед сном. Они, словно зажженные свечки, сидели вдоль стены на огромной кровати, а мать присаживалась на краешек, складывала руки и, закрыв глаза, обращала их к всевышнему.

Молитву она читала одну из общепринятых, однако потом всегда добавляла несколько слов от себя, куда входило то, чего, по ее разумению, не

хватало в первой молитве или что затрагивалось в ней лишь частично. И среди прочего в этом дополнении говорилось: "Да избави нас всех от внезапной и нечаянной смерти!"

Он был тогда таким маленьким, беззащитным и отверженным, что мысль о смерти внушала ему ужас. Он видел однажды старушку, утонувшую в море, видел, как крепкие мужчины с озабоченными, угрюмыми лицами уносили ее тело, распухшее и окостеневшее. Все его детство прошло под черной, зловещей тенью, под страхом смерти, и, пугаясь, он каждый раз молил бога, чтобы тот не дал ему умереть. Иногда, совершив какой-нибудь проступок, он сам налагал на себя епитимью. Ведь пока живешь — надеешься, и от одной мысли о внезапной и нечаянной смерти его бросало в дрожь. Теперь же, думая о боли и унижениях, связанных с затянувшимся недугом, он лелеял тайную надежду, что, если уж этого не избежать, пусть лучше смерть настигнет его быстро и безболезненно, чтобы он не успел ничего почувствовать, как в тот раз, когда он, забыв принять лекарство, свалился в беспамятстве на улице.

Всю жизнь проработав не покладая рук, Хельге Хауге не хотел, чтобы и смерть далась ему в тяжелых трудах. Ему и так выпало много страданий и мучений, много унижений — пусть хоть смерть достанется легко.

А о смерти он задумывался все больше и больше.

И самое страшное в мысли о неотвратимости смерти было находившее на него ощущение, что жизнь прожита напрасно. Растрочена впустую, бессмысленно и неразумно. Неужели от него действительно не было никакого проку?

Подобное унижительное чувство, что свалил дурака, он испытал во время войны, когда впервые понял абсолютную бессмысленность своего участия в ней. Тем не менее он отстреливался, он руками и ногами цеплялся за жизнь. Он считал — как ему теперь казалось, по наивности, — что война имеет смысл для всех, кого поработили и притесняли гитлеровские дикие орды, однако сейчас это представлялось ему ошибкой. Война, думалось ему, происходила в недостижимых для бомб бункерах, куда солдат не допускали. Он сражался не ради кого-то, как считал поначалу, а ради чего-то неясного и непонятного. Хельге Хауге даже не был уверен, что сражается ради собственной жизни, и хуже всего было сознание добровольности сделанного шага — вступления на флот.

Его обвели вокруг пальца, воспользовавшись его невежеством. Как и большинство "простого народа", он был невежествен, и потому все доходило до него слишком поздно. Уже после того, как он совершал вроде бы правильные поступки, которые на поверку оказывались безумием чистой воды.

Однако он все же уцелел и даже кое-чему научился на своих ошибках, и, постепенно начав разбираться, что к чему, он стал вырабатывать своего рода "политическую стратегию", которой он мог бы руководствоваться в своих действиях. Впрочем, он мало преуспел в этом. От тех времен у него осталось в наследство лишь бригадирство, но он и сам не знал, считать его достижением или нет.

Поначалу ему нравилось. Как нравится в первый раз после зимы есть мороженое. Но радость от мороженого исчезает вместе с последним его кусочком.

За день он так выкладывался, что запала на то, чтобы идти против начальства, почти не оставалось. Он был политиком-одиночкой, индивидуалистом, а потому не представлял никакой опасности. Наверху его быстро раскусили и умело этим пользовались. Пусть Хельге Хауге бывал иногда резок, зато он имел авторитет у товарищей. С другой стороны, будучи беспартийным, он не вправе был ожидать поддержки, если в один прекрасный день он зайдет слишком далеко и ему будет грозить выговор или понижение в должности. Хельге Хауге был сильным, но неопасным противником и вполне устраивал начальство, так как умел найти общий язык с ребятами и заставить их работать.

Все это Хельге Хауге прекрасно понимал. Ничего удивительного, если он чувствовал себя маленьким и беспомощным.

Могучая фигура Беньямина склонилась над верстаком: он был поглощен схваткой с краскопультom. Но при виде Хельге Хауге Беньямин бросил работу, разогнулся, вытер рукавом пот со лба и не спеша отложил разводной ключ.

— Ага! Кто же это так рано к нам пожаловал? Непыльная у некоторых работа: разгуливает тут, понимаете ли, при полном параде, точно Потифар¹ какой. Ты случаем не из тех приятелей, которые так любят работу, что могут целыми днями смотреть, как работают другие?

Хельге Хауге почувствовал, что Беньямин очень рад его приходу, особенно когда тот продолжал:

¹ Начальник телохранителей египетского фараона из библейской легенды об Иосифе Прекрасном.

— Этот идиот, которому ты поручил красить второй танк по левому борту, он же ни черта не умеет, Хауге. Я лучше умею ходить по воде, чем этот болван — обращаться с краскопультом и пистолетом! Ты видел, на что похож танк? Там сверху льет как из ведра, а внизу можно купаться в краске. Да нас всей бригадой за такое вышибут. Этот кретин добьется! И краскопультов на него не напасешься. Он за неделю сломал два, я уж не говорю об уплотнительных кольцах, которые мы просто все извели на упомянутого господина. Он чего ни коснется, все летит к чертям собачьим!

Легкие у Беньямина были будь здоров, и он мог без передышки выдавать длиннющие тирады, поэтому Хельге Хауге улыбнулся, видя, что Беньямин набрал воздуха и готов разразиться следующей. Беньямин завелся!

— Да пропади все пропадом! Не я здесь примабалерина, не я заказываю молебен в корабельной церкви, черт бы ее побрал. Я человек покладистый, почти как зажиточный крестьянин накануне рождества, и мне совершенно наплевать, если твой приятель изведет на этот поганый танк десять лишних тонн сурика. Все равно это чертово судно не более чем дырявое корыто...

— А вообще-то как дела? — прервал его Хельге Хауге с таким достоинством старшего, что Беньямин рассмеялся: ему, конечно, было что рассказать своему благосклонному начальнику.

— Дела! — Беньямин со свистом втянул в себя воздух. — Тьфу! Пойдут тут дела! Да можно ли здесь вообще сварить кашу, Хауге? Каждый божий день какой-нибудь сюрприз. Что-нибудь веселенькое да приготовили! — Он на минуту умолк, выпрямился, расправил плечи и сделался на голо-

ву выше Хельге Хауге. И уже совершенно серьезно продолжал: — А между тем на белом свете происходит много всякого, Хельге, и тебя как старого вояку, возможно, заинтересует сообщение о том, что снова зашевелились немцы. Они идут в наступление, Хельге, и поговаривают о новых территориях, о расширении, видишь ли, "жизненного пространства".

Когда я последний раз ходил в море, у нас на судне был жирный-прежирный немец. Но не в том суть, Хельге, что он был жирный. Ты бы посмотрел на его физиономию, когда он уплетал тефтели или свинину! Ха! Больше я ничего про него говорить не буду, только что его звали Вольфганг, в честь великого музыканта, но мы не могли называть его иначе как Отто—Свиное Копыто.

Хельге Хауге вдруг вспомнился разговор, услышанный однажды в столовой. Там собрались договорники, почти все с большим стажем, в возрасте, кроме одного студентика, который решил на каникулах поближе познакомиться с рабочим классом. Был там старый коммунист. Он долго, с нескрываемым презрением смотрел на студента, а потом отчеканил:

— И парень-то вроде не толстый! Видать, не в коня корм. Жир не в теле, а только на губах, когда ешь.

А дело было в том, что все жевали всухомятку сыр, а парень ел котлетки с маминой кухни.

История была давняя, и бог знает, какое отношение она имела к рассказу Беньямина.

Беньямин тем временем продолжал:

— А рассказать я хотел про сегодняшние газеты, где написано, что Генриху Бёллю в третий раз отказали в иске против поганого репортеришки с

телевидения, который нарочно искажил некоторые высказывания Бёлля, чтобы иметь основание называть его "симпатизантом", то есть утверждать, будто Бёлль сочувствует террористам.

Но самое забавное, пишут газеты, заключается в том, что всего через два дня после того, как Верховный суд ФРГ поддержал репортера, по телевидению был показан фильм Бёлля "Катарина Блум". А в нем речь идет именно о такой ситуации. О таком вот подлом честолюбивом репортере.

Там рассказывается о женщине, повстречавшей молодого человека, которого, как выясняется, разыскивает полиция. И вот приходит к ней, значит, эдакий хлыщ, восходящая звезда журналистики, и хочет что-то поиметь с ее скандальной истории. Он хочет ослабить ее, смешать с грязью, хочет погубить обоих, чтобы самому нагреть на скандале руки, и это ему блестяще удается. Он малый толковый. И прилежный, как муравей. Но эта женщина, Хельге, перехитрила его, сердце у нее не ушло в пятки. Пороху у нее хватило. Не зря в ее жилах течет немецкая кровь. И вот она подкладывает приманку для этого олуха из журналистского мира, и он благополучно клюет на нее. И вся его карьера летит к черту.

Официально Бёлль потерпел поражение, пишут газеты. Против бюрократии не попрешь. Однако он одержал победу в глазах общества. Он успел написать книгу о человеке, пытавшемся очернить его, и то же телевидение, на котором работает этот пройдоха, поставило по книге фильм, и теперь все могут убедиться, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ха-ха-ха-ха! Просто ужас до чего смешно. Ты тоже посмейся, Хельге!

И Хельге Хауге выдавил из себя улыбку. Он

вроде понял историю, но не разобрался в ее подоплеке. Кто такой этот Бёлль? Кто такая Катарина Блум?

А Беньямин, точно перевернув страницу, продолжал:

— Ты помнишь Конго в 1960 году, Хельге? У них теперь снова те же проблемы. Получается так: если стране оказывает помощь Советский Союз или Кастро, это называется агрессией, однако если то же самое делает Америка или какая-нибудь другая из стран НАТО, это называется сначала присылкой военных советников, а затем — действиями по защите белого меньшинства и их материальных интересов.

Хельге Хауге встрепенулся. Он теперь по-новому смотрел на положение в Конго, поэтому сказал:

— Как же, как же! Тут я немножко разбираюсь. Меня на днях просвещал Одд Хауген и научил уму-разуму. Он утверждает, что войну в Конго поддерживают те же люди, которые владеют цинковой компанией в Одде. Да, он сказал, Валленберг в Швеции и "Сосьете женераль" в Бельгии!

В глазах Беньямина засветилось радостное изумление.

— Да что ты говоришь! Откуда эта бестия Одд Хауген может про такое знать? Малярам в танке вроде никто не докладывает подобные новости!

— Он говорит, что столкнулся с этим по работе. Тут, на верфи, в комитете помощи забастовщикам, и в других местах, когда собирал деньги для ребят в Одде, так как профсоюз отказался санкционировать забастовку и платить рабочим за простой. И еще он рассказывал, что краскопульт, который лежит перед тобой, тоже принадлежит Валленбергу. Компании "Атлас Копко", вот как!

— Надо же, до чего докопался мужик!

Это оказалось для Беньямина полной неожиданностью. В мире постоянно происходило что-то новое, и он в отличие от многих других не обижался и не чувствовал себя неловко, если обнаруживал собственное незнание, ему даже приятно было пополнить свою коллекцию чем-то новеньким.

— Расскажи подробнее, Хельге! — заинтересованно попросил он, и Хельге Хауге рассказал все, что запомнил из слов Одда Хаугена, а Беньямин сидел молча и лишь качал головой, когда выяснялись новые для него детали, позволявшие делать выводы, до которых он прежде не додумывался.

— Замечательно! — вырвалось у него, когда Хельге Хауге закончил. — Потрясающие факты, нет, оказывается, этот Одд молоток!

Они немного помолчали, погруженные в раздумья. Потом Беньямин сказал:

— Ага, теперь до меня дошло, почему Лумумбу и Альенде убили, а Кастро оставили в покое. Сахарный тростник и кофейные бобы — не самые главные блюда на обеденном столе капитализма. Кофе обычно подают в конце, когда все уже встали из-за стола. Но полезные ископаемые, ценные минералы, такие, как альендовская медь или лумумбовские бокситы, кобальт и цинк, подают на первое! А жадность великих мира сего, как известно, не знает границ!

Они вновь помолчали, думая, и на этот раз заполнили паузу жевательным табаком. Обоим необходимо было пораскинуть мозгами над сказанным и услышанным. Каждый делал это по-своему, в силу собственного разума.

Хельге Хауге не знал, о чем говорить дальше. С него было довольно, ему бы теперь переварить

новую информацию. Он сосредоточенно жевал свой табак и мыслями был далеко.

Беньямин, который шевелил мозгами быстрее и отличался зверским аппетитом, уже готов был снова вкушать пищу, а потому продолжил свои рассуждения.

— Ты слышал про Юхана Гальтунга? — спросил он.

— Юхана Гальтунга? — Хельге Хауге понятия о нем не имел, даже не представлял себе, из какой это оперы. — Не знаю я никакого Юхана Гальтунга! — решительно отвечал он.

— Куда тебе, Ула-лопух! — иронически засмеялся Беньямин. — Хотел бы я встретиться с норвежцем, который знал бы кого-нибудь еще из знаменитых соотечественников, помимо Нансена, Амундсена, Квислинга и Трюгве Ли¹. Норвежцы — самый непросвещенный народ в Европе, хотя и мнят себя самыми умными. Вот что называется беспроектным невежеством, Хельге!

А речь я веду к тому, что присуждение в 1936 году Нобелевской премии мира Осецкому² было счастливой случайностью. Осецкий — истинный антифашист. А Нобелевские премии мира получают теперь в основном поджигатели войны. Так вот, премию присудили Осецкому, и за это нацисты сначала выбили ему все зубы, а потом сгноили в концлагере для немецких уголовников. И уже после окончания войны, после того, как мир разобрался, кто такой был Гитлер, чести полу-

¹ Трюгве Ли (1896—1968) — генеральный секретарь ООН (1946—1953), один из лидеров Норвежской рабочей партии. Неоднократно входил в норвежское правительство.

² Карл фон Осецкий (1889—1938) — немецкий публицист-антифашист.

чить премию за убитого Осецкого был удостоен один из наиболее видных антифашистов в мире, Бертран Рассел¹. А надо тебе сказать, Хельге, что сам Рассел в тридцатых годах подвергался преследованиям за свои антинацистские взгляды, и удивительно, что он, как один из немногих людей с чистой совестью, стал играть важную роль в моральном климате на земном шаре.

Но понимаешь, какая загвоздка! После войны этот Рассел не успокоился. У него были глаза, и он видел, что фашизм возрождается. Фашисты отнюдь не были побеждены, истреблены или стерты с лица земли, они замаскировались и жили себе припеваючи. Более того! Он видел возрождение фашизма на новой территории — в Америке. Свидетельством тому был Ближний Восток, была Корея, где посреди кровопролития реял звездно-полосатый американский флаг. И вот, дабы официально доказать миру, что немецкая идея превосходства одной нации над другими продолжает жить, он собрал антифашистов со всей планеты и вместе с ними задался целью изобличать насилие, массовые убийства, бомбардировки и предание огню гражданского населения, в которых виновны англосаксонские империалисты. И первый процесс, первый Расселовский трибунал был посвящен Вьетнаму. Не только потому, что эта война по своей жестокости и бессмысленности превосходила все остальные, но прежде всего потому, что более семидесяти процентов ее жертв составляли

¹ Бертран Рассел (1872—1970) — английский философ, логик, математик, общественный деятель. Один из инициаторов Пагуошского движения; лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

мирные жители: мужчины, женщины, дети. Там применялся напалм, и те, кому не посчастливилось заживо сгореть на месте, погибали от удушья, так как напалм своей гигантской горячей пастью вытягивает весь воздух из легких. Говорят, у отдельных жертв даже целиком вырывало легкие. Да, разные бывают на свете времена, поется в рождественской песенке, и Рассел захотел поведать людям правду и посадить американцев на скамью подсудимых, как в свое время сами они вместе с союзниками сделали в отношении нацистов. Однако хорошенького понемножку, решил мир, хватит и одного Нюрнберга. Заставлять политиков отчитываться в своих деяниях показалось слишком опасным. Это было чревато революцией.

Вот почему Дин Раск¹ лишь презрительно усмехнулся, когда Рассел бросил ему перчатку. "Мне совершенно не интересно играть в кошки-мышки с этим престарелым англичанином!" — высокомерно заявил он. Но всего несколько лет спустя мир имел возможность убедиться, кто из них страдает старческим маразмом.

А за Вьетнамом последовал процесс, посвященный Чили, за Чили — Западной Германии. Сам Рассел в 1970 году отошел в мир иной, однако до этого он успел показать четкую связь между США с одной стороны и безмерным притеснением народа в Южной Америке, а также неонацизмом в Западной Германии — с другой. И тут, мой дорогой Хельге, мы возвращаемся к тому, с чего начали, к временам Осецкого и Гитлера.

Итак, третий Расселовский трибунал был по-

¹ Дин Раск — в описываемый период госсекретарь США.

священ притеснениям и политическому давлению, которым подвергались немецкие радикалы, коммунисты и другие представители оппозиции, и одним из организаторов этого трибунала был Юхан Гальтунг. Теперь ты понимаешь, к чему я клонил?

Я очень хорошо помню последнюю телевизионную передачу с Гальтунгом. Он выступал в ней против цвета норвежских судовладельцев. Один против всех, как это любят устраивать телевизионщики.

И представь себе, Хельге, он был неуязвим, недосягаем для гнилых помидоров, которыми они пытались забросать его. И дело кончилось тем, что он поговорил с ними, как добрый дядюшка, который рассказывает детям о пчелах. Как учитель, которому приходится в зоопарке давать ученикам объяснения перед клеткой с обезьянами.

Он тихо и спокойно втолковывал им, что вместе со своими кораблями они являются частью мирового империализма и что в те редкие времена, когда они сходят на берег приглядеть за бизнесом, они шагают по еще не остывшим трупам. И столь же добродушно он объяснил им, что очень скоро им предстоит увидеть свои суда на приколе или на дне морском, куда их отправят с помощью желатиндинамита революционеры.

Ты знаешь, Хельге, на судовладельцев было жалко смотреть. В тот вечер Гальтунг посадил на мель гордость нашей страны — весь морской флот.

А назавтра газеты писали, что морской флот не имеет никакого касательства к вопросу о войне и мире и что человеку с такими взглядами нельзя доверять чтение лекций по проблемам мира в норвежских университетах.

В итоге каждый получил свое. Гальтунг эмигрировал из страны, как сделали до него многие

другие, а морской флот и судостроение с большой помпой пошли ко дну. И поскольку судоходство и верфи являются на сегодняшний день нашей главной политической и экономической проблемой, Юхан Гальтунг получил славу и признание, которых всегда заслуживал.

Видишь, как все взаимосвязано, как знания и опыт, сливаясь вместе, дают четкую, рельефную картину, с хорошо проработанными деталями и в то же время с ясной перспективой. Ох, дорогой Хельге, далеко же нам иногда приходится ходить — по воду, да за речку!

Так и с Бертраном Расселом, Хельге. Когда нужно поднимать боевой дух, хорошо иметь людей, всегда придерживавшихся антифашистских взглядов, чистых сердцем, как сказано в Писании, чистых в своих помыслах, словах и поступках. Но обрати внимание! В сорок пятом Рассел слыл героем. В пятидесятом он превратился в дерьмо собачье, каким был перед первой мировой войной и перед второй, когда Гитлер и антикоммунизм поставили все в мире с ног на голову.

А веду я к тому, что через четыре дня исполняется двадцать лет с тех пор, как я был в гостях у этого самого Бертрана Рассела, Хельге. Да, прошло уже двадцать лет, почти четверть века. Посмотри на часы. Сегодня ведь четвертое июня, правда? А восьмого июня 1958 года для меня, Хельге, началась длинная и почти неправдоподобная история.

В тот год я много переезжал с места на место. Списавшись на берег с кучей денег в кармане, я кочевал по "доброй старой Англии", чтобы составить себе представление об этом обществе рабов, к которому мы волей-неволей принадлежим. Анг-

личан я встречал в каждом порту, по всему земному шару — на море они столь же вездесущи, как на суше евреи, — однако мне хотелось посмотреть на них, так сказать, в домашней обстановке. Мне все уши прожужжали о том, что у себя на родине англичане гораздо лучше, гораздо сердечнее, гораздо гостеприимнее, чем о них принято думать. Но сам знаешь, блондины везде нарасхват. Не успел я прибыть в Лондон, как меня потащили на киностудию, а оттуда срочно отправили в воспетый Диланом Томасом¹ Уэльс.

Там снимался антикитайский фильм под названием "Гостиница шестого счастья". Главную роль, отвратительной миссионерши, исполняла Ингрид Бергман², Уэльс же выбрали для съемок потому, что в Китай западных миссионеров больше не пускали, а ландшафт Северного Уэльса в какой-то мере воспроизводил южное побережье Китая. Мне положено было стоять выпучив глаза, изображая из себя полного идиота, нередко в кадре с очаровательной Бергман, и за это я получал пять фунтов в день, что считалось по тем временам большими деньгами. В Норвегии про этот фильм, по-моему, слыхом не слыхали, да оно и к лучшему, поскольку получился он, прямо скажем, неважнецкий, какие-то сентиментальные слюни, и я про него ничего не знаю с того дня, когда мы всей группой ходили в гости к Расселу. Представь себе, к самому Бертрану Расселу, знаменитому, ненавистному и проклятому, пресловутому Бертрану Расселу.

О, он принимал нас, как это умеют только ве-

¹Дилан Томас (1914—1953) — знаменитый уэльский поэт.

²Ингрид Бергман (1917—1982) — шведская актриса театра и кино.

ликие люди, и вся съемочная группа аплодировала, как это умеют только люди кино. Однако тон приема был сразу же задан серьезный. Бертран Рассел, сухощавый старик, похожий на новорожденного страусенка, страшный как смертный грех, произнес краткую приветственную речь. Речь эта была удивительно ясной и стройной. Слова — точно руны, высеченные на камне, точно гигантские буквы, застывшие на небосводе, точно северное сияние, это были слова любви, как будто вся оппозиция, все протесты, все новаторское искусство и революционная политика, даже крик повстанца — все сплошь основано на величайшей любви и глубочайших страданиях. Да, именно так: любовь и страдание являются движущей силой истории, всех перемен. Ты только послушай, что он говорил!

— В этом доме не верят в бога. Но мы верим, и верим твердо и беззаветно, в прогресс всего человечества. Мы не верим также и в загробную жизнь, зато мы верим в жизнь при социализме, верим в общество, построенное под флагом социализма и живущее по его законам.

Да, друзья мои, мы верим в него! Однако путь нам предстоит неблизкий, и сократить его никак нельзя, в этом мы уже убедились. Но мы должны иметь в виду, что, даже если мы потерпим отдельные поражения, наши ряды сомкнутся вновь, и мы будем драться до победы. Потому что время работает на нас, и никто и ничто на свете не может подавить всеобщей тяги к свободе, тяги к свету!

Дорогие мои друзья! Не становитесь в ряды тех, кто использует каждый неверный шаг революции для опровержения неоспоримой истины, что социализм является могучей исторической силой. Через каких-нибудь несколько десятилетий все

вынуждены будут признать, что социализм был, есть и будет самой выдающейся созидательной силой в истории нашего столетия, точно так же, как сегодня социализм настоятельно требует своего законного места в системе мира.

Да, нам предстоит неблизкий путь. И я сам прошел по этому пути дальше многих. Но вы, деятели кино, воздействующие на сознание народных масс, должны помнить, что независимо от наших взглядов в каждом из нас живет бунтарь и мятежные настроения рабов всего земного шара — от сельвы Амазонки до берегов Исландии — получают ясное и четкое воплощение в нашей работе, а это в конечном счете обеспечит им бессмертие!

Какая стояла тишина, с какой сосредоточенностью внимали все этому захватывающему действию, как выразился потом один из актеров, этому своеобразному завещанию человека, сумевшего остаться целым и невредимым, хотя его травили всеми известными ядами!

Впрочем, на этом серьезная часть была окончена. Теперь все пошло легко и свободно, и сам Рассел, чуть навеселе, размахивая недопитым стаканом виски, резвился, точно герой кукольного спектакля. Я слышал, как он с нескрываемой самоиронией рассказывал анекдот про Бернарда Шоу.

Одна молодая знатная особа почти в открытую делала ему предложение, более того, уговаривала подарить ей ребенка. "Представляете, какой это будет замечательный ребенок — с вашим умом и моей внешностью!" — восторженно убеждала она. "А если получится с вашим умом и моей внешностью?" — спросил Шоу.

Все засмеялись, и громче всех сам Рассел; смех

перешел в гомерический хохот, когда кто-то напомнил, что Бернард Шоу был похож на старую обезьяну. "Но писать он умел. Этого у него не отнимешь!" — засмеялся Рассел и в порыве бьющей через край жизнерадостности, точно в жилах у него текло искрящееся французское шампанское, принялся чокаться со всеми вокруг.

Тем не менее в этом доме даже посреди праздника чувствовалось нечто большее. Нечто вдохновенное и чистое, нечто вне пространства и времени, Хельге. Некая невероятной мощности магнетическая сила, и мне показалось, что буквально каждая драгоценная секунда из двадцати четырех часов была здесь посвящена делу, способствовала разрешению того или иного политического конфликта на земле. Весь дом был проникнут напряженной работой мысли, сотрясался от бурной активности, от безумного темпа, от всеобщей увлеченности. Свою энергию старик черпал из окружения, так и знай, Хельге!

Сам я впервые в жизни остро ощутил тогда сопричастность чему-то великому и значительному, сопоставимую, пожалуй, с обращением в иную веру. Я чувствовал, как воздействуют на меня этот дом, люди, окружающая атмосфера, они точно заразили меня своей убежденностью, погрузив в нее с головой. Я пережил обряд крещения в реке. Очищение, благословение и обновление. И я подумал, что все страдания и все бунтарские настроения в мире непременно сходятся в доме Бертрана Рассела. Впервые в жизни я постиг разницу между добром и злом. Я отведал плодов с древа познания, и этот символический акт даровал мне способность различать добро и зло. И сразу отделилась ложь, которая выпала в осадок, как оседает на дне ко-

лодца песок. Мало того. Я увидел всю подоплеку этой лжи, увидел столь же ясно, как вижу тебя сейчас. Понимаешь, я увидел взаимосвязь между различными лживыми измышлениями, увидел всю цепочку, из которой выстраивается фальсифицированная история. Подтасованные факты, Хельге, — это мешки с песком вокруг солдата. А правда, реальность — это пули, от которых он должен спастись, правда — это враг, представляющий опасность своими революционными откровениями. Правда — это встреча человека с самим собой, но увиденная и пережитая через другого. Правда — это два солдата враждующих армий, пытающиеся нащупать друг друга в кромешной тьме. Ты понимаешь меня, Хельге? И когда один солдат убивает другого, он делает это наперекор себе, наперекор правде, реальности, поскольку реальность заключается в том, что они никогда прежде не видели друг друга, никогда ничем не обижали друг друга и никогда не стали бы пытаться погубить друг друга, если бы им с детства не внушали искаженных исторических фактов. Правда заключается в том, что они пошли бы вместе в бар, выпили по кружке пива и поболтали бы о старых приятелях.

Верующие назвали бы мое переживание общением с богом. Я никогда не отрицал, что в основе созидательной и революционной политики есть нечто религиозное, поскольку за каждой строкой "Коммунистического Манифеста" стоит десять тысяч лет бунта против бога и его навевающих тоску служителей. Очень жаль, что в основу истории, которую будут изучать последующие поколения, лягут как раз плохая религия и плохая политика, в результате чего люди будут всю свою жизнь, от

рождения до смерти, блуждать в хаосе и полной неразберихе. Вот почему так много людей плачут и стенают по ночам, Хельге.

Дом Бертрана Рассела представлял из себя собор. Дворец, от пола до потолка отданный революции. Однако он не вмещал всех документов, всех свидетельств, которые ежедневно поставлял мир и жить с которыми могут лишь немногие сильные духом.

Все пространство было занято коробками с отчетами и документами. На грубо сколоченных, стоявших впритык полках, в ящиках и просто стопками была сложена чистая, неприкрашенная действительность, рассортированная и снабженная ярлыками правда.

Я ходил и смотрел по сторонам. Перелистывал какую-то книгу здесь, какой-то справочник там, находил сведения, о существовании которых даже не подозревал. Это было потрясающе, Хельге. Самому до такого в жизни не докопаться!

Помню, например, книгу некоего Чарльза Уайтона. Он был во время войны корреспондентом, а после ее окончания посвятил себя розыску военных преступников. Вот что он писал:

”Исчезновению Эйхмана весной 1950 года немало способствовало развитие событий в Западной Германии в конце 1949 — начале 1950 годов. Ранее в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне возникла почти не скрывавшая своих нацистских взглядов НПП, Немецкая правая партия. Программа этой партии, возглавляемой бывшими нацистами, включала в себя все основные догматы Гитлера, в том числе антисемитизм. Помимо этого, целый ряд бывших сторонников Гитлера принадлежал теперь к Свободным демократам, одной из партий, вхо-

дивших в коалиционное боннское правительство под руководством доктора Конрада Аденауэра”.

Итак, война продолжалась, Хельге. А ты думаешь, что теперь с этими мерзавцами покончено? Думаешь, они превратились в пай-мальчиков? Да ты не хуже меня знаешь, как солдат может остаться в живых, зарывшись в гору трупов и переждав, пока враг не уберется восвояси. То же случилось и с Третьим рейхом. Нацисты повылезали из собственных склепов, яко змеи! Нас просто-напросто обманули, Хельге! Провели на мякине!

Да-да, провели на мякине! А наиболее явным и наиболее распространенным способом неприятия действительности, которым пользуются англичане и американцы, а тем более немцы, является искажение фактов. Если же дела совсем плохи, если и служба дезинформации подводит, тогда можно отрицать правду с помощью самых нелепых формулировок вроде, скажем, противоречий между поколениями.

Зато в церкви царит полное согласие. Она ведь зиждется на людских страданиях. Понимаешь, когда мир рушится, люди становятся религиозными, они сползают к распятию и обращают свои круглые, как крона, физиономии к богу и авторитетам. И когда новая Западная Германия во главе с социал-демократическим правительством принимает старые гитлеровские законы, это значит: вот во что вылилась, во что выродилась в этой стране свобода. Немецкие неонацисты, будучи мазохистами и садистами, мечтают лишь о возможности терпеть муки!

Обычно во взоре солдата, который видел, как гибнет мир, появляется выражение отрешенности и безумия. Но немцы сделаны из другого теста. Их

глаза наполняются слезами, наигранным сочувствием и блаженной радостью. Ich bin ein Mädchen von Pyräus, und ich liebe... König, Gott mit uns und Vaterland! Mehr Mark, mehr Mark, hei, zwei ... und Anschluss! ¹

Посмотрим же, какой путь они избрали. Возьмем, к примеру, Общий рынок. Там теперь территория, которую завоевывает ФРГ. Там сосредоточена потребительская масса. И ФРГ обирает ее, как обирали города в своих грабительских набегах викинги.

Для такой развитой промышленности, как в ФРГ, для того размаха, с каким всегда действовала и продолжает действовать эта промышленность, не существенно, война сейчас или мир. В зависимости от того или иного состояния будут по-разному распределяться капиталовложения, ресурсы, выпуск продукции и конечные продукты и товары будут сбываться на разные рынки. В таком случае им все трын-трава! Какая разница, что производить: автомобили или пушки? А за рынки всегда идет борьба не на жизнь, а на смерть. Зато по окончании войны можно будет наладить производство инвалидных кресел, и все пойдет своим чередом.

При капитализме войну можно рассматривать как экономический кризис, при котором обществу сначала с помощью добровольной бесплатной рабочей силы наносят ущерб, чтобы затем можно было искусственно взвинтить производство. Тех же, кто не желает играть в эти игры, держат на голодном пайке, пока они не сдохнут от истощения. Вот как они ведут свои дела, Хельге!

¹ Я—девушка из Пирея, и я люблю...—слова из модной немецкой песни 60-х годов, исполнявшейся прогрессивной греческой певицей Мелиной Меркури. За короля и отечество, да пребудет с нами господь! Расширять и расширять территорию, раз, два... и аншлюс! (нем.)

А чтобы ты не считал мои утверждения голословными, я продемонстрирую тебе кое-что из своих закровов!

Беньямин вошел в раж. Он уже не говорил, а кричал, размахивая ручищами, точно великан-фокусник в упоительный момент сотворения чуда, когда у него из цилиндра вылетают голуби.

— Вот, пожалуйста, читай последние сообщения из ФРГ! — воскликнул он. — Самые свежие новости!

И Беньямин швырнул на верстак перед Хельге Хауге три брошюры в черно-белых обложках. На них было написано:

Russell Tribunal zur Situation der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland... DOKUMENTE I... BERUFSVERBOTE, POLITISCHE ENTLASSUNGEN, Alle Fälle von 72-78... DOKUMENTE II... UNTERDRÜCKUNG DURCH DIE JUSTIZ, Alle politischen Prozesse von 74-78... DOKUMENTE III... POLIZEI-ÜBERGRIFFE¹.

Взяв одну брошюру, Беньямин открыл ее на первой странице, прочел заголовок: "Aufruf zur Unterstützung des Dritten Internationalen Russell Tribunal"² — и начал читать текст. Голос его был зычным и торжественным, как у епископа в праздник богоявления. Ни одного слова не понимав-

¹ Материалы Расселовского трибунала о нарушении прав человека в Федеративной Республике Германии... Часть I... Запрет на профессии и увольнения по политическим мотивам. Все случаи за 1972—1978 гг. ... Часть II... Судебные преследования. Все политические процессы за 1974—1978 гг. ... Часть III... превышение власти полицией (нем.).

² Призыв к поддержке Третьего международного Расселовского трибунала (нем.).

ший Хельге Хауге тем не менее тоже встал, поскольку чувствовал, что Беньямин читает ему документ чрезвычайной важности, и, когда Беньямин в заключение прочел: "Für das Tribunal—Prof. Dr. Johan Galtung"¹, у Хельге Хауге невольно вырвалось:

— Вот это я понял!

Снова наступило молчание.

Затем Беньямин сказал:

— Да, Хельге! На то, чтобы переварить большую часть полученной в тот день информации, мне понадобилось двадцать лет. Зато теперь у меня есть представление о мире, и этого уже не отнимешь.

— Но как тебе удалось раздобыть все эти материалы о трибунале? — спросил Хельге Хауге. — В газетах про это ничего не было.

— От них, пожалуй, дождешься! — грубовато и чуть свысока отвечал Беньямин. — Трибунал с блеском замолчали, точно так же, как и многие другие важные мероприятия, с помощью которых пытались донести правду до народа. Норвежские газеты и в тридцатых годах мало писали о преследованиях в Германии, а если что-нибудь и писали, то исключительно в похвалу Гитлеру и Муссолини. Все та же грустная картина!

Но я хотел тебе рассказать, откуда у меня эти бумаги, Хельге. От одного доктора филологических и исторических наук из Кёльнского университета. И смотри, что у меня есть еще!

Беньямин вытащил из нагрудного кармана помятый конверт и протянул его Хельге Хауге.

— Ты ведь читаешь по-английски, правда? — спросил он. — Вот и читай!

¹ От имени трибунала — проф. д-р Юхан Гальтунг (нем.).

Бережно вынув письмо, Хельге Хауге надел очки и прочитал:

”Дорогой Бенъямин!

Как там белоснежный Берген? Он все такой же красивый?

Возвращение домой было ужасным. Я точно снова попала в затхлое, безжизненное болото, с головой окунулась в эту мерзость.

Обстановка с каждым днем делается все хуже и хуже, газеты по утрам доводят меня до полубоморочного состояния. До тошноты. Чудовищно! Полное впечатление беременности, без всяких на то оснований.

Власти совсем распоясались. Они едва ли не в открытую заявляют, что все социалисты и коммунисты — заведомые преступники, подлежащие немедленной казни. Нас втаптывают в грязь, мы чувствуем себя затравленными.

Я вижу, что рано или поздно мне придется покинуть ФРГ. Но куда мне ехать, если все пути отрезаны? Везде сейчас экономический кризис, везде безработица и свертывание производства. Тем не менее работать в Кёльне тоже нет никакой возможности. Все пути и тут отрезаны. Политическая деятельность чревата погромами, черными списками, увольнениями, арестами или даже, согласно новым законам по борьбе с терроризмом, тюремным заключением на неопределенный срок по малейшему подозрению.

Куда мне деваться, Бенъямин? Где найти работу? Возможно, выходом для меня была бы Италия. Не знаю, во всяком случае, я записалась на вечерние курсы итальянского языка!”

Дойдя до более личной части письма, Хельге Хауге протянул его Бенъямину, давая понять, что ему все ясно.

— Но это ужасно! — воскликнул он.

— Конечно, черт возьми, ужасно! — отвечал Бенъямин. — Между прочим, очаровательная дама, второго такого доктора наук поискать, и я бы сию минуту предложил ей выйти за меня замуж, только бы перетащить ее сюда. Но что это даст, Хельге? Судя по всему, мы тоже катимся назад.

— Ну и огорошил ты меня, старика, — после долгого размышления сказал Хельге Хауге. — Вот уж не думал, что там такое творится.

Хельге Хауге умолк, как бы замкнулся в себе, и вдруг глаза его сощурились. Он вспыхнул и, сжимая кулаки, сквозь зубы гневно произнес:

— Знаешь, Бенъямин, тот, кто заказывает музыку, всегда предпочитает духовой оркестр, военные марши и мундиры с блестящими пуговицами. Уж я на это насмотрелся!

— Кто же не насмотрелся! — откликнулся Бенъямин. — Все насмотрелись! Я сам чудом избежал немецких газовых камер — только благодаря шведам. Но заставить других людей понять это не легче, чем головешки из ада таскать, пропади все пропадом!

Чего Бенъямин никогда не отрицал — это что он человек запасливый. И сейчас Хельге Хауге не мог не улыбнуться от представшего перед ним изобилия.

Да, такой уж был этот Бенъямин, который каждый день таскал на работу два футляра для инструментов. Эдакий оригинал, хотя музыка на верфи вроде была не в чести, разве что духовой оркестр иногда пригласят, когда спускают на воду новое судно. Тогда среди знамен и флагов появляется высокое начальство, тогда расстилают красную ковровую дорожку и приготавливают бутыл-

ку шампанского для церемонии наречения корабля. И всех на верфи угощают рагу, а в клубе устраивается небольшой кулинарный симпозиум для тех, кому не приходилось бывать на судах, поскольку эти люди не имеют отношения к черным будням за запертыми воротами верфи.

И тогда на палубах и на пристани собираются кучками рабочие парни. Они чувствуют себя жалкими и ничтожными, чувствуют, как бесконечно далеки от собственных политических идеалов. Они подавлены зрелищем сильных мира сего, всей этой помпой и великолепием — красивые, элегантно одетые дамы, изысканные, с горделивой осанкой мужчины, прекрасно сохранившиеся, даже если им за пятьдесят, потому что им никогда в жизни не доводилось выгребать навоз. Есть о чем призадуматься. Нет, вы только посмотрите, как они здороваются друг с другом, посмотрите, как мужчины целуют в щечку дам! На самом деле отвратительный спектакль под ужасную музыку, но вполне реалистичский, поскольку из него наглядно проступает во всей своей беспощадности реальная действительность и бьет в глаза тем, кто одет в комбинезоны, спецобувь и перчатки из жесткой серой кожи. И хотя многие знают, что этой песенке скоро конец, у них все же щемит сердце. Кто-то предпочитает отвернуться, даже уйти, зато другие позволяют себе иронические замечания, за которые, услышь их господа наверху, на сцене, не миновать бы ребятам тюрьмы.

”Нарекаю тебя Астрид, и да сопутствует тебе счастье и удача на всех морях и океанах!” А вокруг, точно мухи, вьются репортеры, и на следующий день в газетах появляется фотография, а может быть, и такие подробности, как меню тор-

жественного обеда и фамилия крестной с указанием числа кораблей, нареченных ею ранее.

А тут появляется этот Беньямин со своими футлярами для инструментов. Да в них запросто мог лежать динамит, и многие всерьез задумывались, нет ли какого подвоха, видя, как он шагает по направлению к докам, точно музыкант на репетицию. Он идет вразвалку, с высоко поднятой головой и никого не боится. Вот это особенно нравилось в нем ребятам. Он принес с собой на верфь жизнь, принес свежий ветер в длинных взъерошенных волосах (они называли его "лохматиком" и считали тем самым разбитным малым, маску которого он надевал на себя). Для них Беньямин-механик с его загадочными футлярами для инструментов воплощал размах, мечты, жизненную энергию. Насколько было известно Хельге Хауге, Беньямин единственный на верфи плевать хотел на табельные часы.

— Ты должен отмечаться, как все люди, Беньямин! — попробовал как-то вразумить его Хельге Хауге.

— Если у тебя есть ко мне претензии, выкладывай! — отвечал Беньямин.

И с тех пор Хельге Хауге всегда сам пробивал карточку Беньямина.

Так вот, два футляра. В одном из них раньше хранился малый корнет, и в нем Беньямин приносил спиртные напитки, необходимые ему на трудный рабочий день. В зависимости от потребности это могли быть, например, шесть банок пива или бутылка бренди. Для охлаждения своих напитков до соответствующей температуры Беньямин пользовался сжатым воздухом.

Второй футляр был побольше, и в нем в отличие

от героя гамсуновских "Мистерий" Бенъямин держал не грязное белье, а обтянутое кожей доброе старое банджо, на котором красивыми буквами было выведено "Хёфнер". Ну и для полного счастья Бенъямин, в складчину с Хельге Хауге и другими ребятами из бригады, обзавелся по последней моде собственной кофеваркой. А если добавить к этому, что в его аптечке было все, начиная от пенициллина и кончая снотворным, вы поймете, почему Бенъямина называли также "запасливым кротом".

Бенъямин предпочитал не рисковать.

Он всегда был во всеоружии.

И бригаду это не раз выручало. Особенно в ночную смену, когда, бывало, вконец измотавшись, ребята позволяли себе долгие перерывы.

Сейчас Бенъямин уже сварил кофе и протягивал Хельге Хауге пакет молока.

— Бери, не стесняйся, Хельге, — сказал он, наливая себе черный кофе. — Сахар лежит в шкафу.

На минуту воцарилось молчание, пока приятели сдабривали свой кофе кто сладким, кто горьким. Бенъямин подлил себе виски, Хельге Хауге добавил молока и сахара. Но несправедливость была слишком явной, и Хельге Хауге не стерпел и попросил себе тоже капельку виски.

Они отпили по глотку. Затем Бенъямин задумчиво спросил:

— У тебя, Хельге, было когда-нибудь такое ощущение, что жизнь человека в твоих руках, что ты можешь убить его?

Подумав немного, Хельге Хауге отвечал:

— В войну. Во время войны неопытные молодые летчики часто еще не понимали, как нужно пикировать на нас, самим не подставляясь под выстрелы... да, они были совершенно беззащитны.

Тогда и появлялось чувство, что он у тебя в руках и ты можешь беспощадно убить его. Обычно проходило несколько секунд, прежде чем они подлетали достаточно близко, и, нажимая гашетку, я слышал внутренний голос: "Бей его, Хельге! Бей! Он беззащитен! Ему не уйти!" Как будто есть разница между убийством человека, который из всех сил защищается, и убийством юнца, который еще не научился этому. Но какого дьявола!.. Нашли тоже тему для разговора!

— Да нет, Хельге, ты меня не понял! Я не про убийство с помощью оружия. Я думал о психическом воздействии, о злом, желчном слове, которое убивает.

Взгляд Беньямина сделался отсутствующим, он точно смотрел мимо Хельге Хауге, куда-то в пространство. Однако Хельге Хауге не заметил этого, так как он тоже сейчас ничего не видел перед собой. Обычно он старался не ворошить войну, и то немного, что он сказал, вырвалось нечаянно, против его воли...

ВСЕХ УБИТЬ, УБИТЬ, УБИТЬ...

С НАМИ БОГ — НАМ ПОБЕДИТЬ!

Этот стишок он обнаружил однажды на переборке, вернувшись с ночной вахты.

Сердце бешено колотилось, в глазах потемнело.

Беньямин:

— Понимаешь, Хельге, это случилось, когда я последний раз ехал поездом из Осло...

Хельге Хауге чувствовал страшную слабость и головокружение, он едва не падал со стула.

Беньямин:

— В Тёнсберге в купе вошли двое офицеров Армии спасения, муж с женой, оба примерно в возрасте Мафусаила, и уселись напротив меня...

Хельге Хауге слышал странные звуки, но не мог разобраться в них. Что это? Бомбежка Лондона или крики Джо в море огня? Он был не в состоянии отделить друг от друга эти картины, они переплелись, превратившись внутри него в запутанный клубок, который все увеличивался в размерах.

Беньямин:

— Ну, мы с ними поболтали о том о сем, а потом они, конечно, завели свои душеспасительные беседы. Старик вылупился, как павиан, сует мне в нос свою вкрадчивую физиомордию и спрашивает: "А ты веришь в бога?"

Клубок видений внутри Хельге Хауге начал понемногу распутываться. Их судно шло в Северной Атлантике зимой, в шторм, в окружении снега и льда, так что им приходилось все время следить, чтобы не отказала артиллерия: пушки, пулеметы, зенитки, приборы управления огнем. Обкалывать лед и чистить. Но что было толку с артиллерии? Корабль шел без противолодочной защиты! Они были легкой добычей. Смертниками по дороге на экзекуцию. Их путь лежал не в Мурманск, как считалось официально, а на дно морское, на съедение бычкам. Ребята знали это, и кое-кто распустил нюни, молился богу, потому что не мог примириться с мыслью о скорой смерти. Но Хельге Хауге так чертовски устал от войны, что он примирился, ему было плевать на все, он сидел себе в каюте и в ус не дул. Сидел, пока его не пробудил к жизни стишок, нацарапанный на переборке. А внезапное пробуждение после того, как человек долгое время был в нетях, — это слишком большая встряска, и он начал крушить все, что попадалось под руку в тесной каюте. Он просто осатанел,

и товарищам пришлось, не теряя времени, силой укротить его. Бунтовать против войны на судне строжайше запрещалось.

Теперь перед ним встало испуганное личико Тургейра Беккена. От постоянного страха перед смертью этот Тургейр вечно ходил с мокрыми штанами. Нет, он, как и многие другие, не годился для войны.

Стоя бок о бок на палубе, они вели огонь по двигавшимся наверху, в черноте ночи, самолетам, когда немецкий штурмовик зашел сзади, расстреливая все на своем пути. Оба мгновенно поняли, что им крышка, и повернулись лицом к врагу, лицом к смерти, точно пытаясь убедить друг друга в ее печальной неотвратимости.

Самолет был совсем близко, они видели летчика, видели его безумные глаза, которым не терпелось посмотреть на результаты своей работы, прежде чем потянуть на себя рычаг управления и взмыть в высоту вместе со смертоносным оружием.

Чувства Хельге Хауге предельно обострились, он видел, слышал, ощущал все яснее обычного... и соображал быстрее обычного. Время точно застыло на месте, хотя мысли бежали наперегонки, жизнь, кипящая вокруг, словно замерла, и эта страшная картина запечатлелась в его ясном сознании и взорвалась нескончаемым криком.

У него на глазах человека разделало, как разделяет мясную тушу затупившаяся дисковая пила на скотобойне. Тургейра Беккена просто-напросто разорвало на части. Струя крови, горячей крови Тургейра Беккена, ударила в лицо Хельге Хауге, и он закричал, дико и безумно, отчетливо слыша этот свой крик.

Слыша его, потому что сам он не погиб, он отдавал себе в этом отчет. И он, круто развернувшись, прильнул к орудийному прицелу. Немец попал точно в прицел, и Хельге Хауге дал очередь. Он видел, как снаряды со всей своей разрушительной силой прошивают самолет, видел, как у него на глазах самолет рассыпается, однако продолжал стрелять. Он готов был гнаться за этим самолетом не то что на дно морское, а на край земли, на край вселенной, и он слышал, как убийца внутри него кричит все громче и громче, пока ночь вокруг не заполнилась этим ревом: СМЕРТЬ!.. СМЕРТЬ!.. СМЕРТЬ!.. СМЕРТЬ!.. И когда самолет взорвался и горящим метеором полетел в море, чудовищное извержение ненависти и насилия внутри у Хельге Хауге прекратилось, как внезапно прекращается ураган.

И наступила полная тишина.

Беньямин:

— Почему вы ставите свои сети только на мелкую рыбешку? Почему именно простых людей вы пытаетесь уверить в том, что все они закоренелые, неисправимые грешники? Потому что они не могут постоять за себя? Потому что им и так не повезло в жизни и их топчут, попирают, притесняют? Несчастные, их и без того преследует горе, невзгоды и тревоги. Почему же вы ловите рыбу в мутной воде, и притом всякую мелочь? Что вам, сильным, до них, слабых? Отвечайте же! Я требую ответа! Не все вам вести душеспасительные беседы и дуть в свои трубы!

Хельге Хауге слышал сердитый, раздраженный голос Беньямина. В нем сквозили обида и недовольство. Значит, Хельге Хауге уже возвращается к действительности. Значит, призраки остались

позади. И он постарался сосредоточиться на рассказе Беньямина.

Беньямин:

— Но они не пожелали мне ответить. Ушли от ответа. Изобразив мученические улыбки, они приготавливались пострадать за веру.

Ох уж эти мученические улыбки. Они взбесили меня, и я закричал: "Бедняки, падшие женщины, алкоголики, наркоманы и прочие несчастные, которых поставляет мир, нужны вам ради собственного алиби. Обращение такого несчастного к вере становится главным доказательством существования бога. Потому что не вы сами, а они, эти больные и увечные, могут служить примером, доказательством того, что вера действительно помогает, что ваши разговоры о прощении грехов — правда. А если алкоголики снова начинают пить? Вы говорите, что они мало верили! Вы из тех подлых душонок, которые готовы плеткой загнать людей на небо. Воинствующие садисты, вот вы кто, палачи, прикрывающиеся своей формой и флагом с полосами и золотыми звездами. А музыка, этот гром духового оркестра, должен приводить мелких грешников, которых вы сгоняете к себе, на грань сумасшествия, он призван внушать им, будто они идут не по холодной кровавой земле, а по раскаленному железу".

Я смел их укрепления, Хельге. За рухнувшими, как стены Иерихона, фасадами мучеников оказались позеленевшие физиономии насмерть перепуганных людей.

— Довольно! Ну довольно же! — закричал старик в приступе чисто земного страха. Прикидываться мучениками было не время, но тем важнее было снискать милосердие.

— А вот и не довольно! — завопил я. — Вы изображаете из себя волхвов, разгуливая в своей форме с золотыми крестами, в то время как бедняки еженощно волокут свой тяжкий крест на Голгофу. И в этом виноваты вы, разглагольствующие о спасении. Кто же тогда истинные грешники, кто самый большой и закоренелый грешник на свете? Скажите, тогда я отпущу вас! Но не раньше!

И тут старуху затошнило, Хельге. Ее начало рвать, она извергала из себя ящериц, змей, желчь и бог знает что еще.

— Так вот чего добился черт в награду; и поделом — зачем не рассчитал, с какой публикой имеет дело!¹ — воскликнул я и, схватив сумку, вылетел из купе.

Но должен тебе сказать, Хельге, что не успел я выскочить оттуда, как на меня нашло сильнейшее раскаяние. Я увидел их лица с печатью безумия и внезапно испугался, не отправил ли я их на тот свет. Поэтому я сошел на первой же станции и два дня пропьянствовал в Нутоддене, пытаюсь залить воспоминание о них. Ты можешь это понять, Хельге: испугаться, не прикончил ли ты несчастных стариков? Да они и так уже одной ногой в могиле стояли.

— Все хороши! — сказал Хельге Хауге скорее в ответ на собственные мысли, чем Беньямину. Он еще наполовину отсутствовал. Но вот он взял себя в руки и заговорил:

— В христианстве плохо то, что оно так чертовски далеко от реальной жизни. Кто же, скажите на милость, может сидеть и ждать, когда на землю

¹ Г. Ибсен. Пер Гюнт. Действие пятое. — Собр. соч., т. 2. М., "Искусство", 1956, с. 595 (пер. А. и П. Ганзен).

сойдут всевышний, Христос и дева Мария со всем святым семейством и начнут судить живых и мертвых и установится царствие небесное на земле? Люди за две тысячи лет все колени сбили, умоляя об этом, а наверху что-то не торопятся! Честно говоря, мне эта песня тоже порядком надоела.

И еще об отношении церкви к войне. Церковь считает, что без войны нельзя, а вслед за ней так же считает и народ. И церковные послания призывают к войне. Вот и получается, как говорил дядя Ларс: пока одни добропорядочные христиане танцевали в Нью-Йорке фокстрот, другие столь же добропорядочные христиане убивали друг друга в Европе.

Помню, он вернулся из Штатов в 1917 году, до крайности обозленный на американцев.

Они шли вслед за "Лузитанией", только опоздали, спасти уже никого было нельзя. Впрочем, они и не пытались: их тоже могли потопить.

Но представь себе, как загорелись глаза у командира сигарообразной подводной лодки У-20, когда он увидел трубы "Лузитании". У него небось аж слюнки потекли: Судя по вахтенному журналу, лодка уже давно рыскала по морю безо всякого успеха, без единой стычки, без какой-либо добычи. Не в чем было отчитаться береговому начальству.

И вот он приклеился к перископу и с каждой минутой все больше и больше убеждается в том, что его морская карьера обеспечена.

"Торпедный аппарат один! Приготовиться! Торпедный аппарат два! Приготовиться!" — невозмутимо командует он и подводит лодку поближе, чтобы уж точно не промахнуться. Затем следует приказ: "Один — пуск! Два — пуск!" И торпеды устремляются к срединной части пассажирского

судна. Раздается взрыв, и у него на глазах гигантский корабль в считанные секунды окутывается пламенем и черным дымом. Это горит жертвенный огонь Авеля, принесшего в знак своей верности дар господу. Теперь командир не сомневается в успехе. И чтобы полюбоваться на трагедию вблизи, он отдает приказ к всплытию.

Они подходят ближе. Ему хочется получше рассмотреть все в бинокль, и он, точно ребенок, раскопавший палкой муравейник, наблюдает за паникой на корабле. Ему прекрасно видны мечущиеся на верхней палубе люди, до него даже доносятся отчаянные призывы о помощи, и он видит, как по мере распространения огня паника перебрасывается с носа на корму. Он не скрывает своего удовольствия, глядя на спасательные шлюпки, которые тонут, едва коснувшись воды, на сотни людей, прыгающих за борт в надежде уцелеть. И наконец, долгожданный завершающий удар: корабль сотрясается от мощного взрыва, так что командир даже приказывает подать лодку назад. И "Лузитания", эта гора сварного металла, дрожа и корчась в судорогах, словно умирающий зверь, опрокидывается и, испустив последний вздох, исчезает в пучине.

Поверхность моря успокаивается. Но в бинокль капитану видны сотни несчастных, еще цепляющихся за жизнь, молящих о помощи. Он решает проявить милосердие, избавив их от дальнейших страданий, и велит пулеметчику на баке приготовиться.

И пока крохотная подводная лодка кружит по свинцовому морю, пулеметчик на палубе расстреливает весь свой боекомплект. Под треск пулемета поднимаются фонтанчики воды там, куда попадают пули. И вскоре с кричащими беднягами по-

кончено. Капитан отдает приказ приготовиться к погружению.

— Чудовищная история! — вырывается у Беньямина.

— Еще бы! — лаконично отвечает Хельге Хауге. — Европа сражалась, проливая свою кровушку, а янки танцевали фокстрот. "Этот новый танец считался символом освобождения, так как пришел из диких лесов, от чернокожих, — рассказывал дядя. — Но поскольку сорок три пассажира на борту "Лузитании" имели американский паспорт, янки все же вступили в войну!"

— Каждый раз, когда я слышу подобную историю, я задумываюсь о том, что у нас называется "царящим в мире ужасным терроризмом". Во-первых, терроризм — это вроде болезни, во-вторых, это не правило, а исключение. И разве может такая малость, как бомба в самолете, идти в сравнение с подобной историей, а, Хельге? Мы клеймим терроризм, изображая дело так, будто в наше время он просто не укладывается в голове, хотя это самообольщение: мы пытаемся доказать друг другу, что с годами становимся все более гуманными.

Но оглянись вокруг! Посмотри на фашистов, Хельге! Они, черт бы их побрал, убивают не хуже прежнего, даже лучше, гораздо лучше и гораздо эффективнее, поскольку изобретают новые, неслыханные способы казней. Бомбы, уничтожающие людей, но оставляющие в неприкосновенности материальные и промышленные объекты, мы называем более гуманными. Хорошенькая гуманность! Нет, меня совершенно не удивляет, что люди начинают потихоньку тоже братья за оружие. Всякое вооруженное сопротивление поначалу топится в крови, и тем не менее все на свете взаимо-

связано, все чем-то да обусловлено. А мы пытаемся просто отмахнуться от терроризма, называя его негуманным или, того хлеще, бесчеловечным и преступным. Кстати, не все ли равно, под какую рубрику подходит вооруженное сопротивление? Сила есть сила и в любом случае оказывает свое воздействие!

— Это еще как сказать, — задумчиво отвечал Хельге Хауге. — Для меня стало насущной потребностью избегать силы, принуждения. Понимаешь, Беньямин, даже если насилие используется во имя добра, оно все равно губительно действует на человека, взявшегося за оружие. А как нам строить лучшее будущее с загубленной личностью? Ведь это мы должны готовить людей будущего, и уже сейчас, пока не поздно.

— Да ты законченный идеалист! — коротко бросил Беньямин. — Массы, народ, никогда не стремились к насилию. Насилие всегда навязывают им другие.

— Ты, наверное, прав, Беньямин, но я сам положил на это, так сказать, много лет, и еще одной войны просто не выдержу. Я только убежден, что человек, замышляющий убийство, независимо от того, какими причинами он руководствуется, готов будет совершить его и по чужой указке, именно потому, что уже раньше носил в себе убийство, предумышленное и аргументированное убийство. Нет, Беньямин, я никогда не был приверженцем анархизма.

Если хочешь, я расскажу тебе одну историю. Незадолго до войны был у нас на судне нацист, которого матросы ненавидели лютой ненавистью. И все же я не уверен, что мы поступили с ним правильно.

— А как вы с ним поступили? — спросил Беньямин.

— Напоили до чертиков и отвели к татуировщику.

— И что?

— Там мы ему сделали татуировочку, после которой он уже не оправился.

— Пометили, да?

— Вот-вот, — отвечал Хельге Хауге, — именно пометили.

— Ну ладно, выкладывай все как было!

— Мы изобразили ему на спине огромную свастику, а внизу написали: "Со свиньей — по-свински".

— И что сказала свинья, когда очухалась?

— Ничего он, Беньямин, не сказал, он прыгнул за борт и утопился.

— Черт возьми! — воскликнул Беньямин.

Хельге Хауге поднялся, собираясь уходить.

— Интересно, почему я вспомнил об этом именно сейчас? Занятно! Подожди, Хельге, послушай еще вот что!

В так называемом детском доме, где я вырос, нас иногда возили к врачу, вывести насекомых или сделать какой-нибудь укол. А рядом, посередине поселка, ничего лучше не придумали, как соорудить скотобойню, точно бойня — самый главный из объектов, с которого начинается застройка населенного пункта. Так вот! Перед бойней всегда стоял грузовик, в кузове которого, как нам было слышно, царапались о высокие борта, пытаясь выбраться, свиньи. Иногда мы видели, что в кузов заходят двое мясников в белых, заляпанных кровью халатах. Один из них держал свинью, а второй забивал ее обухом большущего топора. И хотя ведьма Русенкранц уверяла нас, что животные тут же отдают концы, я лично никогда не сомневался в том, что дикий визг вызывается не предсмертны-

ми конвульсиями, а невыносимой болью. Видимо, поэтому бойня безотчетно притягивала меня.

И вот однажды, в очередной раз сбежав, я ночью пробрался туда, чтобы посмотреть ее изнутри. И знаешь, впечатление это произвело на меня самое неожиданное. И мокрый цементный пол, и шпарильный чан, и запах, и туши, висевшие вокруг огромного разделочного стола, — все казалось мне знакомым. Именно так я себе это и представлял, Хельге. Я все узнавал. Кишки, вымя, отрубленные головы, ноги, все-все! И вся эта дребедень оставила меня совершенно безучастным.

Бернард Шоу как-то сказал, что войны не прекратятся до тех пор, пока люди не перестанут убивать животных.

Иногда мне кажется, Хельге, что я сам родился на бойне и что моих родителей забили, как тех свиней, которых я видел в детстве. Случается, я даже вижу их перед собой, слышу их крики. И я говорю себе, что крики эти вызваны не конвульсиями, а нестерпимыми страданиями и муками.

Хельге Хауге ничего не ответил. Взяв шлем и перчатки, он направился к двери.

Беньямин слышал, как он на ходу что-то бормочет, но не мог разобрать ни слова из невнятных звуков, шедших от истекавшего кровью сердца Хельге Хауге.

6

Как всегда после такого откровенного и волнующего марафона, в который выливались разговоры с Беньямином, Хельге Хауге засел у себя в бригадирской, погрузившись в глубокое раздумье. Лицо его приняло озабоченное выражение, и было

очевидно, что Хельге Хауге не дают покоя его шестьдесят четыре года.

— Кончишь ты когда-нибудь подбивать бабки, Хельге? — спросила однажды Гюлле, проснувшись посреди ночи и обнаружив, что он сидит в кровати. — Ох, не доведет это тебя до добра!

Гюлле знала Хельге Хауге как свои пять пальцев. И она была права. Но что толку было читать мораль и пытаться вразумить его?

— Не могу я не думать! — отвечал тогда Хельге Хауге. И, встав, он, чтобы не мешать Гюлле спать, перебрался в гостиную и лег там на диван.

Конечно, он и сам прекрасно понимал, что времени на исправление всего зла, против которого они когда-то восставали, нет. Лучшие годы жизни, годы, когда человек обычно полон сил и энергии, были выброшены кошке под хвост.

И все же Хельге Хауге было недостаточно любви, в которой они с Гюлле прожили пятнадцать бурных лет своего супружества, и хрупкого и слезливого примирения, и захлестнувшей их потом волны преданности, которая, как им показалось, слишком поспешно вынесла их в голый лес старости. Прежде он мечтал о царстве небесном на земле, и теперь, когда по ночам таинственные голоса насмешливо кричали ему: "Пришел вечер, и кончен бал! Кончен бал, Хельге Хауге! Хе-хе-хе!", теперь, когда времени оставалось в обрез, для него было чрезвычайно важно подвести итог своей жизни.

Что он имел в виду под итогом? Он и сам толком не знал, просто внутри что-то точило и свербило и не было ни минуты покоя от мучивших его злых духов.

Он пытался выделить ключевые моменты с тем, чтобы определить их место в реальной действ-

вительности, систематизировать их на манер телефонного справочника.

Прежде всего, в его жизни было слишком много лжи. Почти сплошной обман и притворство! Они с Гюлле практически все время играли, представлялись друг перед другом, однако постепенно этот спектакль утрачивал свою наигранность, пока наконец они совместными усилиями не познали одну истину: настоящую любовь. Это была любовь, которую начинают испытывать солдаты по окончании сражения, когда видят, что остались в живых, и даже без больших потерь. Они добились почти невозможного, и оба чувствовали это, поскольку очень многих из их непосредственного окружения, друзей со времен детства, тот же обман сломил, и они потерпели поражение, с самыми неприятными последствиями как для себя, так и для других.

Но почему же тогда, скажите на милость, Хельге Хауге не был доволен своей победой? Да потому, что в конечном счете ни он, ни Гюлле не успели "пожить". Попытаемся вникнуть в это. Хельге Хауге и сам не мог объяснить, какой смысл он вкладывает в слова "жить как люди", но он точно, на все сто процентов, знал, что жизнь облапошила его, недодав самого главного, ради чего стоит жить, — свободы. Он всегда только надрывался ради денег на службе у короля. Деньги он, правда, со временем получил, зато свободу безвозвратно утратил, и это отсутствие свободы тяготило его, как тяготит человека заветная, но не исполнявшаяся мечта. С одной стороны, вроде жизнь, а с другой — неполноценная какая-то. А неполноценная, по мнению Хельге Хауге, все равно что бессмысленная.

На кого он гнул спину?

За что так упорно сражался?

Где она, накопленная с годами мудрость?

Этого он не знал. Он уже ничего не понимал. Ему казалось, что он познал хотя бы часть истины, когда он, точно мальчишка первую крупную рыбину, затаскивал в лодку улов — свою жизнь. Но стоило ему с детским нетерпением снова забросить леску, чтобы поймать еще рыбу, еще истину, и тонкая леска в руках запуталась такими узлами, распутать которые он не сумел. Истина проскользнула между пальцев, оставив его в сильнейшем, непреодолимом смятении.

В чем же истина, где она?

Успеет ли он ее найти?

Хельге Хауге еще не утратил надежды на это и постоянно начинал поиски с нового конца, однако он неизменно наталкивался на место, где не помогала никакая проницательность, где его вновь охватывало непостижимое смятение.

Хельге Хауге прожил разнообразную жизнь, но по зрелом размышлении он понял, что она мало чем отличалась от жизни других людей. В чем, собственно, была разница? Только в том, что это был он, Хельге Хауге, что это была его жизнь, жизнь Хельге Хауге, и что в своих мечтах Хельге Хауге парил выше других?

Но мечтам не суждено было свершиться. Это он и сам прекрасно понимал, хотя кое в чем он действительно был не такой, как другие.

Разбирая вещи, оставшиеся после родителей, он наткнулся на фотографию, сделанную в день его конфирмации. Прошло так много лет, что он не сразу узнал себя в невысоком, коротко постриженном грустном пареньке в верхнем левом углу снимка. Он был ниже всех ростом и не раз

платился за это слезами и разбитым в кровь носом. Он не забыл своих обид. Но всего через два-три месяца после того, как был сделан снимок, он уже вырос из костюма для конфирмации, что, впрочем, всех устраивало, поскольку следующей весной должен был конфирмоваться его брат Якоб.

Да, пятнадцать лет он считался коротышкой, и он терпеть не мог школу, потому что их постоянно заставляли строиться в линейку, лишний раз напоминая ему, какой он маленький, как он "не вышел ростом". Из-за этого он потерял и немало друзей. Ребята вырастали и искали развлечений там, куда ему, по причине маленького роста, вход был закрыт. Так же было и с девчонками. Они отдавали предпочтение высоким парням, хотя он из кожи вон лез, чтобы привлечь их внимание. Но у него ничего не получалось, и он искал прибежища в мире мечты. Убегал от всех, забирался в чащу леса или, лежа на камнях, смотрел в воду, в навевающую печаль прозрачную глубину. О, как ему хотелось стать рыбой, нырнуть на дно морское и больше не всплывать! Он воображал себя и дикой уткой из грустной песни под названием "Плывет по морю утка"¹. История утки очень напоминала его историю. И не раз, когда он купался вместе со всеми и большие ребята, злорадно смеясь, начинали топить его, он думал, что было бы даже неплохо, если бы они потопили его по-настоящему.

Однажды он здорово напугал их. Он очень хорошо плавал, особенно под водой. И когда один рослый малый, по имени Ханс, в водовороте брызг и пены затянул его под воду, он выскользнул у не-

¹ Стихотворение норвежского поэта Ю. С. Вельхавена (1807—1873) "Дикая утка".

го из рук и ушел в глубину. Вода здесь была значительно холоднее и более насыщенного зеленого цвета, чем на поверхности. Он изменил направление и быстрыми мощными гребками поплыл вдоль берегового обрыва. Он чувствовал, как распирает его легкие, слышал стук сердца, колотившегося все сильнее и сильнее, и звон в ушах, от которого, казалось, вот-вот лопнет голова. Тогда он в первый раз выпустил немного воздуха. Стало легче, однако выныривать он не собирался. Ему хотелось всплыть там, где его уж точно не будет видно, поэтому он продержался еще несколько метров, выпустил еще немного воздуха, потом еще и еще, и вот он уже барахтается как попало, только бы камнем не пойти на дно. На поверхность он вынырнул в последнюю секунду, еле дотянув, чуть не открыв рот и не нахлебавшись воды.

Он отплыл далеко, на какое-то невероятное расстояние. Больше пятидесяти метров. И там, незаметно для всех, в полуобморочном состоянии выкарабкался на берег и сидел, притаившись среди громадных валунов, пока не отдышался. А потом вошел в лес и, забравшись на сосну, точно орел с высоты, наблюдал, как испуганно мечутся по берегу ребята.

Грустное лицо, смотревшее с фотографии, принадлежало самому нормальному мальчику, который считал себя карликом. А всего полгода спустя этот парнишка не мог взять в толк, что делать с лишними сантиметрами, на которые вытянулась его длинная тощая фигура.

Началась новая жизнь, новая борьба. Он с нескрываемым удовольствием пользовался преимуществом своего нового "я", он решил во что бы то

ни стало наверстать упущенное, и это ему блестяще удалось.

Еще будучи "коротышкой", он научился паясничать, и теперь, высокий и наделенный медвежьей силой, он с радостью взял на себя роль местного шута.

Он дрался из-за девчонок, так что пыль столбом стояла, а потом демонстрировал им прыжки с десятиметровой вышки. Танцы на причале, поездки на острова, утраченная и вновь обретенная любовь, легкая, мимолетная и свободная, как переменчивый ветер. Он нашел в жизни верный тон, превратил ее в популярный шлягер.

"Вот она, жизнь!" — ликовал он про себя и, не вспоминая прошлое, не задумываясь о будущем, шел напролом, как комбайн на поле спелой ржи.

"Ах ты красавчик! — говорили ему. — И глаза у тебя такие нежные, и губы, когда целуешься, точно шелковые!"

И он с улыбкой засыпал, чувствуя себя счастливым.

Он крутил любовь со всеми подряд, но ему было мало. Чем больше он получал, тем больше хотелось.

— Вон этот бабник! — говорили завистники, когда он появлялся на танцплощадке. — Пойдем покажем ему, где раки зимуют!

И Хельге Хауге дрался, и девушки снова обмигивали от восторга. Вот это мужчина! Вот это герой!

"Разойдись! — кричал он. — Прочь с дороги, несчастные, если не хотите, чтоб я переломал вам руки-ноги!"

Так он и шел по жизни, размахивая кулаками и крутя любовь, в полной уверенности, что так оно и должно быть.

Притом всегда с самыми красивыми девушками, и всегда роман очень скоротечный.

Однако в те времена такое могло выйти боком. Баловаться любовью вне брака было все равно что ходить по проволоке: малейшая неосторожность грозила падением и женитьбой. Тут уж не отвертишься никакими правдами и неправдами. И хотя влипнуть можно было от одной рюмки, это знал каждый, Хельге Хауге, ослепленный счастьем, постоянно напивался и ходил довольный, как король, суля свадьбу и царство небесное на земле всем подряд.

Лучше никого особо не выделять, считал Хельге Хауге.

Однако, скажу я вам, он таки запел по-другому, когда пришла Гюлле и призналась, что забеременела.

— Я больше не могу молчать, Хельге! У меня задержка в полтора месяца. Я честно ждала, думала, обойдется. Чтоб только к тебе не идти. Но доктор говорит: точно. И я не вытерпела. Мне нужно было тебе рассказать!

У Хельге Хауге на глазах рушился мир. Его свободной жизни пришел конец. Побаловался несколько лет — и хватит. Хорошенького понемножку!

И, как все мужчины, он попробовал открутиться, найти выход, лазейку, через которую можно было бы убежать, спасти свою шкуру.

— А с чего ты так уверена, что ребенок мой? — возмутился он.

— Но у меня же никого другого не было, Хельге! — отвечала Гюлле.

— А этот Коре? — не сдавался Хельге Хауге.

— Как ты можешь, Хельге! — только и ответила Гюлле. И залилась слезами.

Но Хельге Хауге ни капельки не было ее жалко. Он был настолько далек от ее мира, от ее проблем, насколько это возможно для мужчины в подобной ситуации. Он был поглощен исключительно собой. Что ему делать? Сбежать, пойти в матросы, утопиться, и тому подобное в еще более сентиментальном духе; и как ему объяснить Гюлле, что, хотя она ему, в общем, нравится, он не думал о женитьбе, по крайней мере вот так, с бухты-барахты?

Однако ни в одну из лазеек проскользнуть не удавалось. Он попал в сеть. Он, Хельге Хауге, самая вольная птаха на свете, угодил в западню, и теперь его запрут в клетку.

Рассвирепев, он схватил первый подвернувшийся предмет — это была небольшая супница — и изо всей силы швырнул его об пол. Гюлле вскрикнула, в страхе зарыдала пуще прежнего и бросилась собирать осколки.

Боже мой! Сколько раз потом Хельге Хауге представлял себе Гюлле в этой позе: как она ползает на карачках, собирая остатки разбитой им в слепой, неистовой ярости посуды!

И эта картина — Гюлле на полу, в слезах — заставила Хельге Хауге забыть о собственной персоне. На него нахлынуло острое чувство вины и раскаяния.

”Боже мой! Что я наделал! — отчаянно кричал голос из глубины его души. — Что я натворил?”

А через секунду им овладело прежнее легкомыслие, которое теперь нашептывало другие мысли, выдвигало другие резоны. Поставив Гюлле на весы, он прикинул, что имеет.

Она была самой красивой из всех знакомых девушек.

И она ему нравилась. Этого он отрицать не мог.

Если уж на то пошло, он все равно собирался жениться, как только появятся деньги, и чем Гюлле плохая невеста?

И разве не подзуживал его чертенок в тот раз, когда он был с Гюлле? Разве не шепнул ему: "Давай-давай, все будет в ажуре!" Вот он и не стал осторожничать, потому что ревновал к ее дружку Коре, хотя не признается в этом никому на свете.

А детей он любит и умеет с ними обращаться. Они всегда прибегают со своими заботами именно к нему, а не к кому другому.

Чего он тогда буянит?

И он тут же встал с дивана, присел на пол рядом с Гюлле и, обхватив ее за талию, самым своим задушевным голосом сказал:

— Не плачь, Гюлле! Все образуется! Мы поженимся, найдем себе жилье, и тогда пусть рождается сколько угодно детей, я не против!

Он не знал, что говорит, не ведал, что его ждет. Оба они были как Адам и Ева до грехопадения и верили в бога, в жизнь и во все деревья в саду Эдема. Дьявол небось корчился от смеха при виде такого невежества.

Их свадьба оказалась для всех полной неожиданностью, свалилась как снег на голову. Впрочем, все очень обрадовались, поскольку венчаний в тот год было мало, и все говорили, что они прекрасно подходят друг другу, замечательная пара, и желали им счастья, пока их не разлучит жизнь. Что может быть лучше?

Так же считали и Хельге Хауге с Гюлле.

Все шло легко и гладко с тех самых пор, как они объявили семейству Халворсенов и семейству Хауге о своем счастливом решении, и теперь они

жили у бабушки и дедушки Гюлле в их красном деревенском домике и проводили время, нежась на осеннем солнце и совершая долгие любовные прогулки среди желтолистных берез.

Но вот пришел октябрь, зарядили дожди.

Медовый месяц и так слишком затянулся, и им стало совестно сидеть на шее у стариков. Пора было перебираться отсюда и начинать новую жизнь, пока в округе не пошли разговоры о том, что, дескать, Хельге Хауге только бьет баклуши да спит со своей кралей!

Несмотря на конец года, им удалось снять двухкомнатную квартирку. Правда, без водопровода и уборной, но их это не смущало. Главное — была бы крыша над головой. Бросив немытой посуду, они натапливали в кухне ржавую печурку, наливали в огромную старую лохань горячей воды и плескались в ней.

Хельге Хауге обещали работу на военно-морской базе. Но теперь выяснилось, что базу ликвидируют и народ придется не набирать, а увольнять.

Получить такое известие в начале ноября было досадной неожиданностью. Хельге Хауге только и рассчитывал на эту базу, и остаться теперь при пиковом интересе было все равно что свалиться с небес на землю.

Впервые в жизни он попал в унижительное положение человека, у которого нет работы и нет денег. Они были бедны как церковные мыши, и вскоре пришлось экономить на еде и дровах. Лохань отправили в подвальную прачечную, где ей было самое место, а в кухоньке больше не стало видно немытых тарелок и стаканов.

Они жили за счет родителей, которые упрекали их в том, что Хельге Хауге недостаточно стара-

тельно ищет работу. Отчасти они были правы. Гордый, как сын священника, он не хотел браться за всякую ерундовую работу, которая, может, и нашлась бы у крестьян и владельцев лесопилок. Да, он здоровый мужик, но работать задарма не согласен!

Эта его разборчивость и неопытность дорого обошлись ему, потому что хода назад уже не было, вроде как у рыбака, который, позарившись на большую рыбину, может вытащить ее лишь ценой лодки и собственной жизни. Вслед за другими молодыми парнями в округе, у которых выбило почву из-под ног министерство обороны, щедрой рукой платившее всем желавшим работать на него с 1905 года, когда на престол взошел Хокон VII, Хельге Хауге нужно было ступить на долгий путь унижений. А такое он себе представить не мог. Нет, это не для него! Вот еще!

Можно подумать, кого-то другого привлекал этот путь! Всех манила к себе американская биржа труда, манил Нью-Йорк, где бишь он? "Ах, Нью-Йорк! — говорили самые старшие из них, уже бывавшие в плавании. — Нью-Йорк находится на противоположном берегу этой лужи под названием Атлантический океан! Каких-нибудь две-три недели пароходом!"

Хельге Хауге тем временем совсем отчаялся, а Гюлле не понимала, что с ним происходит, почему он стал холоден, равнодушен, почему может ни за что ни про что обругать ее.

Наступило рождество, намело высокие сугробы. А Хельге Хауге так и не нашел подходящей работы и с раннего утра до заката, до морозного вечера, зажигавшего звезды и северное сияние, пропал на льду с удочками и блесной.

Когда он оглядывался на эту зиму теперь, много лет спустя, поднабравшись опыта и житейской мудрости, все представлялось ему в ином свете. Тогда он чувствовал лишь неудовлетворенность и усталость от жизни, он мог устроить скандал, если к его приходу с рыбалки еще не был готов обед. Теперь он видел молоденькую женщину с огромным животом, который очень мешал ей в хозяйственных заботах. Мешал готовить, стирать, гладить и печь. Он видел кучу дров, которую притаскивал по утрам, и видел, как мало оставалось от нее к вечеру. Он видел Гюлле, склонившуюся над корытцем для теста на обеденном столе, видел ее худенькие руки, месящие это тесто. Он видел ее длинные растрепанные волосы и прилипшую к щеке прядку. Гюлле и тогда была хороша собой, но он не замечал этого. Он вел себя как последний дурак и только покрывал на нее.

В ту зиму многие выходили на подледный лов, чтобы подзаработать. Теперь он понимал это. Он отнюдь не был там в одиночестве. Рыбаки сидели, спрятавшись за брезентовыми палатками, по всему заливу. Они ловили рыбу, жевали табак и громко интересовались уловом, если у соседа что-нибудь попадалось на крючок. Оглядываясь назад, он понимал, что прекрасно проводил время в бухте. Чего еще можно было желать? Чем лучше его сегодняшняя жизнь? Стоило ли из-за нее ломать копьё? Нет и еще раз нет! Почему же он тогда скулил? И почему так странно, глупо, непорядочно вел себя по отношению к Гюлле? Да потому, что тогда шел в наступление прогресс, который соблазнял своими новшествами, звал испытать себя в освоении нового. Но он понял это лишь теперь.

Теперь, когда намечается поворот в обратном направлении, когда люди побогаче отдают бешеные деньги за крохотный домишко на берегу моря. А в те времена были в моде заводские трубы, эти гигантские монументы нового времени, сулившие золотые горы. А ядовитый дым, жертвенным костром Авеля поднимавшийся к небу, воспринимался как символ спасения человечества. Наконец-то придет всеобщее благоденствие!

Как же, держи карман шире!

Но на льду царили безмятежность, покой и холод. Там было время для просветления мозгов, и он день за днем сидел, погруженный в свои думы, добывая хлеб насущный, варя кашу из топора, и рано или поздно его осеняла какая-нибудь замечательная идея. Конечно, это были мечты, но красивые мечты!

А к вечеру на берегу замерзшего моря появлялся грузовик скупщика рыбы Пребенсена, шофер забирал то, что они наловили за день, и расплачивался по твердым ценам. При хорошем улове можно было заработать несколько крон в день. А жизнь тогда была значительно дешевле, чем сейчас.

Рыбалка! Теперь все ограничивается разговорами. Сколько времени они с Оддом Хаугеном собирались порыбачить? И что из этого получилось? Да ни черта! Обоим пришлось кого-то заменять, и никуда они не поехали.

Хельге Хауге припомнил, как скверно он обходился с Гюлле, какими словами поносил ее.

А ведь она была в положении!

Особенно тяжело было вспоминать, что родившийся ребенок заснул вечным сном раньше, чем Гюлле успела приложить его к груди.

Да, он в свое время много наделал глупостей,

этот Хельге Хауге. Но не его в том вина. Он не понимал, почему ходит недовольный, почему семейная жизнь представляется ему заточением в подземелье. Он не понимал, что с ним творится, что превращает в неистового тирана.

Теперь он это понял.

У людей появились новые требования к жизни. Возросшие требования. Им нужен был дом с новой мебелью и работа, постоянная работа на фабрике рыбьего жира Якобсена или на другом промышленном предприятии в городе. А он ничего не имел.

Но почему? Разве он был лентяем? Разве пытался жить за чужой счет? Разве ему было наплевать на дом, жену и детей?

Теперь Хельге Хауге понимал, в чем было дело. Он просто не сориентировался в новом мире. До него никак не доходило, что без постоянной работы, будь то на сдельщине или на окладе, существовать нельзя.

Он категорически отказывался понимать это, пока время не вправило ему мозги.

Сколько раз Гюлле деликатно намекала ему, что задаром в бакалейной лавке Брекке ничего не дают и в долг тоже нельзя брать до бесконечности. Хельге Хауге только поднимал невообразимый шум, кричал, что, "если ей нужны продукты, пусть не волнуется, у них полно еды рядом с домом, а подвал набит картошкой". И Гюлле вынуждена была отступать перед такой сногшибательной логикой и идти к матери просить несколько жалких крон, чтобы не сидеть на одном хлебе. А узнав однажды об этом, Хельге Хауге совсем разошелся: разнес в щепки двери в квартире, а потом, словно шаровая молния, полетел в подвал и расколо-

тил все банки с вареньем и соком, которыми их снабжали родители Гюлле.

Вот какой он был гордый, вот как не хотел принимать подачки.

Но рано или поздно кое-что до него дошло. Хельге Хауге стало не до фанаберий, и он по случаю устроился на фабрику рыбьего жира.

Это была чудовищная работа. И Хельге Хауге воспользовался моментом и сбежал, как только получил известие, что его берут кочегаром на китобойный промысел. Только чем там было легче?

А потом разразилась война.

И что тут скрывать: вернувшись через шесть лет домой, он не знал, смеяться ему или плакать. Все переменялось. Он сам превратился в комок нервов, и у него не хватало духу жить, не имея под рукой бутылки водки. Нет, он не пил так, чтобы валиться с ног. Просто это было единственное лекарство, которое помогало ему, которое делало его до известной степени терпимым и позволяло считать мир вокруг не таким уж плохим, даже приемлемым. Но поначалу и водка не могла убедить его в этом, и теперь ему была понятна тогдашняя реакция Гюлле.

Война ведь и для нее не прошла бесследно. Дважды она получала телеграммы о том, что его судно торпедировано и он, очевидно, погиб, поскольку никаких сведений о нем не поступало. А он, несмотря на пережитые кошмары, каждый раз притаскивался на какую-нибудь базу и опять отправлялся воевать.

Какого черта он это делал? Мало ему было одного торпедирования? Что толкало его снова и снова подвергать себя испытанию огнем, лезть в

пекло, чтобы теперь влачить жалкое существование в виде живого трупа?

Объяснялось это тем, что война, война в самом широком смысле слова, затягивает людей, отнимает у них всякую осторожность, без наркоза вырезая соответствующую часть мозга.

И потом, на войне нет времени для размышлений. Там ты просто солдат, снайпер, штурман, рулевой, безликий человек в спасательном жилете, один из сотен тысяч таких же маньяков-убийц в океане безумия, называемом политиками **ВОЙНОЙ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ**.

Почтальона не касаются хорошие или дурные вести, которые он приносит людям, он живет своей, независимой от них жизнью. У солдата же постоянная тяжесть в сердце и беспросветность на душе, так как он знает лишь одно: что жизнь — это война и что война никогда не кончится. Примерно то же самое выражено в словах: "Бойскаут всегда остается бойскаутом!" Война как раз и начинается со всех этих полурелигиозных военизированных организаций. В их рамках идет предварительная подготовка. В них внушают скрытый расизм, скрытую ненависть, в них "вдохновляют на борьбу" и учат простых людей убивать в помыслах своих, учат любить "короля, бога и отечество", и все это ради одной-единственной цели: **ВОЙНЫ!**

А что происходит после войны?

Как что? Все начинается сначала.

Поднимая из руин города, люди надеются, что "пришел наконец мир" и что "все получили хороший урок". Но не успевают еще улечься "опьянение миром", не успевают расквитаться с врагом, не успевают обезвредить его, как на залитой кровью арене появляется новый враг и измышляется

повод для новой войны. Кого же нам избрать врагом теперь? Кого же? Кого?

И рано или поздно политики отыщут врага, и рано или поздно они внушат массам мысль о ее необходимости и неизбежности, и начнет разыгрываться новый военный спектакль. Война всегда пробьет себе дорогу!

Да, война всегда пробьет себе дорогу, а расходы на вооружение делаются тем больше, чем меньше противятся им силы мира и оппозиции. Среди подстрекателей к войне, естественно, и политики, "лакеи военного капитала"; их клич: "Военные министры всех стран, соединяйтесь!" Но чем отличается война от мира для этих министров? Или для солдата, который непрерывно расширяет свой военный горизонт и оттачивает свое гнусное мастерство, убивая тысячи людей?

В 1971 году английские солдаты перед отправкой в Северную Ирландию должны были проходить трехнедельный "курс дегуманизации", чтобы они не вздумали миндальничать с врагом. Им внушали, что людей, в которых им предстоит стрелять, нужно воспринимать как мишени, на которых они тренировались в лагере. Другими словами, ирландских католиков представляли в виде "картонных человечков" или "персонажей комиксов".

Собственно, то же самое внушали и американцам во Вьетнаме. Однажды я говорил с таким американским солдатом, и он предельно откровенно, не пытаясь обелить себя, рассказывал, что в боевых вылетах типа "SEARCH-AND-DESTROY MISSIONS"¹, после того как они истребляли детей,

¹ "Задача — найти и уничтожить" (англ.).

стариков, инвалидов, женщин, мужчин и скотину, после того как они сжигали дотла деревню, вертолеты обычно описывали еще пару кругов, чтобы обнаружить тех, кого они не сумели прикончить. В таком случае летчик связывался по радио с землей и докладывал, сколько у него осталось боеприпасов. Так ему сделать еще один круг над зарослями на случай, если там притаились уцелевшие?

Я спросил, почему он дезертировал, и солдат ответил: "По той же причине, по которой я вступил в армию: чтобы спасти честь Америки!"

Первые полтора года после войны Хельге Хауге мучился, как мучается больной, привыкший к валиуму и надумавший отучиться от своей наркомании. Прежде всего, его тяготили привычка к алкоголю, состояние полной бессмысленности и столь же полной апатии. Он перестал быть человеком. Он напоминал калеку, который спустя значительное время после аварии, когда все кости уже срослись, все раны зажили, продолжает страдать от ее последствий: шока, жутких болей, страха смерти, помрачения ума и нервного расстройства. Все это никак не отпускало Хельге Хауге, давило на него.

Он страдал и от бесконечных кошмаров и галлюцинаций, после которых оставалось щемящее чувство пустоты и одиночества, и только чисто физическая усталость в конце концов погружала его в тяжелый, похожий на беспомытность сон, затягивавшийся иногда на несколько дней.

Он почти ничего не ел, не стриг волосы и бороду и мог неделями спать в той же одежде, в которой ходил днем. Но хуже всего было то, что он не слышал обращенных к нему слов, он просто-напросто не воспринимал их и считал себя брошенным в знойной пустыне. Все вокруг пылало жа-

ром. Ему даже стало казаться, что он умирает, и это ничуть не удивило его, поскольку за шесть предыдущих лет он ни разу как следует не выспался. По ночам он дрожал от страха. Шаг за шагом он достиг границы потустороннего, нейтральной полосы. Он как бы покинул свою физическую оболочку и теперь наблюдал со стороны за разложением собственного тела. Иногда это даже вызывало его смех. "Во умора-то!" — говорил он сам себе.

Перелом наступил, когда Гюлле предъявила ему ультиматум. Или он кончает пить, или пусть выкатывается. Решено и подписано, прощения ему больше не будет.

Он не сразу понял смысл этих слов, но когда до него дошло, что он лишается семьи и дома, окружающий мир внезапно вновь обрел яркость и значимость. Точно ему заслоняла свет тяжелая черная туча, которую наконец унесло ветром, и теперь его опустошенную душу пригрело солнышком. Ему вдруг захотелось жить. Он все-таки еще не умер!

Но дело зашло слишком далеко. Понимая все головой, он не мог совладать с телом. Его хватило на неделю, а потом он снова пустился во все тяжкие и, сорвавшись в бездну, исчез, как исчезает вода из опрокинутого ведра.

Домой он не являлся и ночевал в крохотной гостинице в городе. Но стоило ему вынырнуть на поверхность, как он, к своему вящему удивлению, к своей радости, обнаружил, что в нем проснулась совесть. Что же это такое? Неужели он возрождается к жизни?

Он бродил по улицам, стараясь держаться подалеже от винных магазинов. Пил только пиво, и редко больше двух литров в день, да и этим обычно делился с другими страждущими.

Мучаясь от одиночества, Хельге Хауге постепенно уменьшал дозу выпитого.

Но все началось сначала. Однажды в ночлежке его вновь обступили призраки. И сколько он ни уверял себя, что это не по-настоящему, что это галлюцинации, они подошли слишком близко, и он завопил от страха. Ничего не соображая, он выпрыгнул в окно и растянулся на асфальте во дворе.

Когда он пришел в себя в больнице, над ним склонилась Гюлле.

— Как ты, Хельге? — спросила она, осторожно глядя его по взмокшим от пота волосам. Он не понял, что на него накатило, но чувствовал, как по щекам текут слезы. И Хельге Хауге плакал и плакал, год, другой, третий, так ему по крайней мере казалось, потом наконец успокоился и погрузился в крепкий, умиротворенный сон.

Его хотят подержать в больнице несколько дней, сказала сестра, пока не будут готовы результаты анализов. Нет, ничего серьезного с ним, по-видимому, нет, но на всякий случай у него возьмут кое-какие анализы.

Хельге Хауге не возражал. Здесь, в городской больнице, он чувствовал себя в безопасности, здесь можно было курить и гулять по саду. Отношения с внешним миром у него по-прежнему были сложные, а больничный режим и посетители доставляли ему мальчишескую радость.

Но в больнице его поджидала настоящая катастрофа. Однажды он вышел в уборную сделать свои дела и выкурить обычную утреннюю сигарету, чтобы немножко расшевелиться. Войдя в беложелтую кабинку, он мгновенно заподозрил неладное. Что такое с его обонянием? На него обрушилась волна чудесных запахов, аромата неизвестных ему

духов. У него голова пошла кругом от этого благоухания, и он, целиком отдавшись его власти, опустился на сиденье, откинулся назад и вдыхал божественный аромат свежести. Он закрыл глаза, и в ту же секунду подключилось зрение. Картинки были смазаны, потому что он несся со страшной скоростью, точно в быстро идущем поезде. Да, он ехал в поезде, он видел впереди рельсы и конечную станцию — и его охватил страх. Он изо всех сил постарался взять себя в руки, но это было невозможно. Он сидел в кабине локомотива, со страшной скоростью летевшего к станции. Он мчался навстречу собственной гибели.

Дорога, казалось, шла под уклон. Станция постепенно увеличивалась в размерах, а поезд несся все быстрее и быстрее, точно катился с высокой горы или прямо с неба. Хельге Хауге видел людей, стоявших с широко раскрытыми глазами вдоль железнодорожного полотна, видел, как проносится мимо них неуправляемый поезд, видел, что расстояние до станции сокращается, он почувствовал, как поезд качнуло на первых стрелках, увидел платформу с бегущими во весь дух перепуганными людьми и услышал чудовищный грохот. Подобно грому, который, раскатываясь, уходит в космическое пространство, раскатился, разлетелся на тысячу частей Хельге Хауге. И части эти, вместо того чтобы упасть на землю, понеслись, помчались все дальше и дальше, пока, точно облачко в необозримом просторе неба, не исчезли из виду, не растворились в космическом безмолвии, которое мир тщетно пытается разрушить. Хельге Хауге достиг края света.

Вернется ли он оттуда?

Мысли его постепенно стали обретать некоторую стройность.

Сердце билось в сумасшедшем темпе, и он знал, что оно разорвется, если не удастся успокоить его. Но самое страшное было то, что он не мог дышать, у него отказали легкие.

Он сосредоточился на дыхании. Откинул голову, чтобы обеспечить свободный доступ воздуху, и из последних сил попытался выдавить из себя вздох. Это стоило огромного напряжения, но он почувствовал, что грудь чуть поднялась. "Давай-давай, старик! Давай! Ты и не в таких переделках бывал!" — уговаривал он себя, только не вслух, потому что боялся спугнуть дыхание. Кажется, получается! Получается! Уже лучше! Ну, еще разок! Задышал! Задышал!

И он действительно задышал. Хельге Хауге открыл глаза и обнаружил, что лежит, вытянувшись, на холодном каменном полу.

— Прекрасно! — сказал он, довольный собой. — Теперь попробуем подняться.

Белый как полотно, с дрожащими коленками, Хельге Хауге припелся в палату, опустился на кровать и мгновенно уснул.

"Господи помилуй! Уже сколько времени прошло после этого наваждения, а я все помню, точно это было вчера!" — думает Хельге Хауге, и по спине его пробегают мурашки.

Ему повезло, что катастрофа случилась в то время, когда у него еще были силы переживать подобные встряски. А скольких людей такие очищения настигали через двадцать, двадцать пять лет после войны? Им было гораздо хуже, чем Хельге Хауге. Чего только не натерпелся бедняга Кнут! Он был младшим в отряде. Семнадцать лет было парнишке, когда он первый раз отправился в лес с группой Сопrotивления, и немногим больше

двадцати, когда война окончилась, потому что в отряд он вступил в сорок втором. Но как его храбрость отразилась на здоровье! Ни к черту не годное сердце и мания преследования, о которой он не решался никому рассказать. Ни одна душа на свете не подозревала, как он мучается, как постоянно отгоняет от себя немцев. Но в конце концов он сорвался. Да еще как! Сорвался из-за появления в доме двух водопроводчиков, которые должны были пробить пару дырок под новые трубы. Ему почудилось, что к ним пробрались переодетые немецкие шпионы, и он, не говоря ни слова жене и детям, принял собственные меры безопасности. Притащил с чердака автомат и ручные гранаты и забаррикадировался мебелью в углу столовой. Потом поставил автомат на боевой взвод и давай кричать, что застрелит на месте любого, кто попытается сунуться. "У нас сначала стреляют, а потом разбираются! — орал он. — Сначала стреляют, а потом разбираются!"

И вот пришла с работы жена, вернулась из школы младшая дочь, но войти они не решились. И никто другой не решился; в конце концов этого психа охватил такой безудержный страх, что он не смог больше оставаться один и начал звать Хельге Хауге.

Хельге Хауге всегда сохранял спокойствие. Он тоже в свое время много натерпелся и знал подход к Кнуту. Хельге Хауге умел изгонять дьявола из солдат и военных моряков, и объяснялось это тем, что ему, и только ему, был понятен их особый язык.

И Хельге Хауге пришел, и Хельге Хауге осмелился войти в комнату. А когда он вышел из нее, ему стало так жалко их всех, что он сказал: "Автомат-то был не заряжен!" И им явно полегчало.

Вот только Кнуту помочь было уже нельзя. Эта боевая операция оказалась для него последней. Сердце не выдержало. Подобно японцу, которого обнаружили в джунглях Камбоджи через двадцать лет после официального окончания войны, Кнут вел свою партизанскую борьбу в общей сложности тридцать лет, и это подорвало его силы. Но он до конца оставался на своем посту и умер, одетый в форму хемверна¹, положив рядом автомат и подписанный королем диплом об участии в войне.

Похороны были из самых печальных, на которых довелось присутствовать Хельге Хауге.

Да, приходилось только радоваться, что с ним самим все сложилось иначе. Он обладал здоровьем, силой и решительностью, которые помогли ему одолеть войну, и теперь он мог сколько угодно ненавидеть ее, не боясь никаких последствий. Другие не смогли этого. Не сумели. Не справились. И остались на посту, как искалеченные стойкие оловянные солдатики.

Хельге Хауге тоже поначалу терпел неудачи, раз, другой, третий. Но в конце концов он победил и вышел из больницы свободным человеком.

А потом было медицинское освидетельствование и очередь в бюро по трудоустройству. Начиналась новая жизнь. Хельге Хауге уже перевалило за тридцать. "Вы — мужчина в самом расцвете сил, Хауге!" — сказал консультант в бюро, а Хельге Хауге подумал о том прискорбном факте, что десять его действительно самых лучших лет прошли впустую, не оставив после себя ничего, кроме зияющей черной дыры. Это были го-

¹ Хемверн — территориальная вневойсковая военизированная организация в Норвегии.

ды, очень важные для молодого человека, годы, когда перед ним раскрывается мир и восторженный юноша избирает путь, на котором принесет наибольшую пользу в жизни. А вместо них — черная дыра.

И теперь приходится делать первые шаги, словно малышу, который учится ходить на своих смешных нетвердых ножках.

Тридцать лет, растраченных впустую?

Не совсем! За это время он возмужал, окреп телом. Но телу требуется душа. А куда делась она?

Вглядевшись в сплошной мрак последних десяти лет, Хельге Хауге понял, что там ему своей души не отыскать. Поэтому лучше отвернуться и забыть о том, что осталось в прошлом. Еще ведь не поздно? А преодолевать трудности он привык, нужно лишь решительно идти вперед.

Вот как вышло, что они переехали в занюханное местечко под названием Стокке. Хельге Хауге получил там работу на металлургическом заводе, и они уложили свои небогатые пожитки и сели в поезд с грудной Эрной на руках. И крошка Эрна, которая умела пока что лишь смеяться, радуясь замечательному миру вокруг, всю дорогу улыбалась и лепетала сама с собой, так что и они с Гюлле заразились ее настроением и смеялись, обняв друг друга.

Хельге Хауге когда-то кочегарил и, потный, прокопченный, бросал уголь в огнедышащую пасть паровой топки, поэтому он не имел ничего против работы в кузнечном цехе. Поначалу он занимался чем придется: кидал уголь, таскал руду к огромным плавильным печам, от которых в свете белого газового пламени разлетались искры, или большущими клещами держал раскален-

ные тридцатисантиметровые заготовки, которые кузнец расплющивал двумя-тремя точными ударами молота. Работа шла любо-дорого смотреть, но однажды чертова болванка, нагретая до тысячи пятисот градусов, шипя, соскочила с наковальни, прожгла резиновый сапог кузнеца и вонзилась ему в ногу. Кузнец сначала стоял в полном недоумении, точно с луны свалился, затем, вскрикнув, начал падать ничком. Хельге Хауге успел подхватить его до того, как он совсем упал.

Его место занял новый кузнец, а Хельге Хауге поставили на резку заготовок. Пробыв на этой работе с полгода, он был опять переведен в кузницу, к прессу. Там он и остался, пока не ушел с завода.

Работа была сдельная.

Хельге Хауге стоял у гигантского пресса с грузом в три тонны, действовавшего по принципу французской гильотины. Когда Хельге Хауге нажимал ногой небольшую педаль, груз с высоты в четыре-пять метров обрушивался на раскаленный кусок металла, расплющивал его в большой круглый блин. Все "блины" должны были получаться ровными, заданных размеров. Многое зависело от того, как лежит заготовка. Продукция затем проверялась мастером, и за брак денег не платили.

Хельге Хауге работал точно одержимый и приспособился ковать в таком темпе, что нога деревенела, а удары следовали один за другим, канонадой отдаваясь в ушах. Работа спорилась, молодой подручный, который должен был очищать "блины" от заусениц и закаливать их в холодной воде, еле поспевал за ним. Но он не выказывал недовольства, поскольку тоже был на сдельщине

и противоборство с прессом и ему приносило свою выгоду.

В перерывах по большей части молчали.

Все идет своим чередом, думал Хельге Хауге, и, в общем, так оно и было. Малышке Эрне исполнилось три года, а несколько месяцев назад у нее появился братик, Бьёрн. И Хельге Хауге поставил традиционное угощение тем, кто помогал строить его дом — представляете, его собственный дом, крытый черепицей, с трубой, все как положено. Дом он почти целиком выстроил сам. По вечерам, после работы, собственными руками выкопал яму под фундамент и забетонировал ее, собственными руками принес каждый кирпич, замешал каждый мешок цемента, каждый куль песка, влил каждое ведро воды.

Деревянный остов они сооружали вместе с плотником, а провести воду ему помогал сантехник. И пока тот работал, Хельге Хауге стоял рядом и ассистировал, как сестра в кабинете зубного врача.

Он оштукатурил кирпичные стены в подвале, зацементировал полы, смастерил шкафы, сделал лестницу, провел электричество, законопатил щели. Потом нужно было настилать полы, обшивать досками стены, класть линолеум в кухне, уборной и ванной.

Он справился со всем этим, они переехали, и оказалось, задолжали за дом всего тысяч тридцать.

Теперь они были сами себе господа, хозяева собственного дома и участка, лучше которых и желать трудно.

Но и он, и Гюлле надорвались. Чего стоила им такая безумная работа? Это измерялось не в кронах и эре, а в до предела натянутых нервах, в приступах слепой, бессмысленной ярости.

И жить в Стокке было невыносимо.

В те времена город отличался от деревни тем, что он рос, а Стокке, в котором появились банк, железная дорога, бакалейная торговля, металлургический завод, овощные лавки и зернохранилище, рос столь же неудержимо, как трава за отхожим местом. И зачинателями всей этой коммерции были крестьянские сынки со средних усадеб. Все как один Бёры Бёрсоны¹ в миниатюре. После войны, когда впервые начала по-настоящему развиваться промышленность, ставшая бичом и проклятием мелких крестьян и рыбаков, вылезли из своих углов Смёрбукк, Тюриханс и Аскеладд² и попали прямо к накрытому при королевском дворе столу и получили каждый свою принцессу и полкоролевства в придачу, поскольку не кто иной, как они, могли выбросить на рынок мясо, овощи, зерно, ягоды и фрукты. А с рабочих было и того довольно, что они обеспечены работой, другого у них и в мыслях не было.

Но, как известно, если человек ест слишком много свинины, он обрастает щетиной, глазки у него заплывают жиром и смотрят с хитрецей, нос делается курносый и приплюснутым, а лицо наливается кровью.

И эти люди сомкнулись в железное кольцо, чтобы отстаивать свои материальные и духовные интересы, и, естественно, образовали элиту, или избранное общество Стокке. Они заседали в муници-

¹ Бёр Бёрсон — герой одноименного романа норвежского писателя Юхана Фалкбергера (1879—1967), выходец из крестьян, ставший впоследствии генеральным директором крупной фирмы.

² Смёрбукк, Тюриханс, Аскеладд — герои норвежских народных сказок.

палитете, входили в различные советы и комитеты, были попечителями школ. Они служили в банке, в городском управлении, на телеграфе. Они использовали все свое влияние, чтобы стать полноправными членами "Ротари", когда в конце пятидесятых годов, во многом благодаря их усилиям, в городе открылось отделение этого поганого светского клуба.

Как все-таки любит человек ломать комедию!

Само собой разумеется, эти люди и те, что сравнительно недавно переселились сюда, большей частью из прибрежных поселков, отличались друг от друга, как небо от земли. Моряки — народ бывалый, повидавший свет, и в их домишках можно было увидеть привезенные с Дальнего Востока изумительные шкатулки камфарного дерева, с резными драконами и изображениями Будды. От этих моряков веяло восточной мудростью и загадочностью. Веяло запахом канатов и соленого моря, запахом мечты, хотя белые паруса давно стали легендой. Эти парни кипели жизнью, они без всякого стеснения пели, любили танцевать, а под иванов день, в тусклом свете луны, кататься в белые ночи на лодках.

Но заделавшиеся аристократами торгоши в Стокке считали все это смешным и старомодным. Живя по обе стороны шоссе на Ра, они никогда не переправлялись в город на лодке, а ездили в автобусе или на поезде или, того лучше, НА СОБСТВЕННОЙ МАШИНЕ.

Сплошное благоденствие и высокая культура. Но для совершенствования нового общества требуется постоянный приток рабочей силы, а налоги и разные вычеты непомерно растут. Ох, много крови попортили нам эти умники!

Если бы в Стокке жили негры, то не исключено, что там была бы создана первая в Норвегии ку-клукс-клановская группа, а так приходилось довольствоваться глумлением над этим сбродом из Вики, Стурвара и Бугена, а также над этими "недоделанными вахлаками" — уроженцами Аннебю. Но особенно потешились добропорядочные граждане, когда запасы рабочей силы в округе истощились и можно было обратить свое внимание на первых гостей с севера.

В начале пятидесятых годов потребовалось заняться воспитанием нового поколения, и гордые учителя в своих нелегко доставшихся академических шапочках и с бантами цветов национального флага приступили к этой трудной работе, в результате которой карапузы пятидесятых годов благополучно превратились в неприкаянную молодежь конца шестидесятых.

Не подозревая обо всех этих тонкостях, Хельге Хауге купил участок и построил свой дом в районе, где обосновались разбогатевшие крестьянские сынки. И все надежды Хельге Хауге и Гюлле на новую жизнь — с домом, детьми и некоторым достатком — пошли прахом, а время, проведенное в Стокке, лишь приблизило их к воротам ада.

Первые два года ни единый человек из всех соседей не здоровался ни с Хельге, ни с Гюлле. Дом стоял рядом, был почти такой же, как у них, но соседи не желали видеть этого и всеми правдами и неправдами, с помощью своих друзей в муниципалитете, добивались установки телефонных столбов и прочей дряни именно на участке Хельге Хауге. Хорошо бы еще спилить парочку деревьев, говорили соседи, а то они загораживают солнце и не дают расти анемонам.

Даже маленьким Эрне и Бьёрну сумели на доступном им уровне внушить мысль о том, что они не такие, как другие дети, и потому игры им дозволены не все. А когда они пошли в школу, стало еще хуже, так как Хельге Хауге с Гюлле не думали посылать "фрёкен" яблоки и апельсины. Но это уже отдельная история, которую впоследствии поведают сами Эрна и Бьёрн. Я же сейчас упомяну лишь об одном: у Бьёрна было обнаружено нервное расстройство, и его направили на лечение. Так я познакомился с этим семейством, и вот что мне пришлось услышать от психолога, который наблюдал Бьёрна:

— Бьёрн рассказывал про учительницу, которая преподносила им следующую картину мира: "Все на свете, ребята, поделено между богом и дьяволом, и существуют два мешка, белый и черный, и все примерные дети попадают в белый мешок и отправляются на небо, к богу и ангелам, а все плохие попадают в черный и отправляются в ад, к дьяволу, гореть на медленном огне". Бьёрн говорил, что она рассказывала эту историю с безумным взглядом и с пеной на губах, и, между прочим, я заметил, что ко мне попадает много больных из Стокке, у которых в начальной школе была эта учительница.

Но довольно об этом.

Хельге Хауге и Гюлле очень старались, я бы даже сказал — из кожи вон лезли, чтобы быть хорошими, добропорядочными гражданами. Но толку от этого не было никакого, и каждый прожитый день оставлял у них чувство горького и мучительного недоумения, естественного для простых людей, которым внушают мысль о собственной неполноценности, собственном ничтожестве.

Еще более огорчительно было видеть, как страдают дети. Как их высмеивают, не принимают играть, бьют, а позднее — сваливают на них вину за чужие проступки.

Задавали детям трепку за ту или иную провинность, в которой их обвиняли соседи, и Хельге Хауге и Гюлле знали, что дети тут ни при чем и что наказывать их за мнимые грехи несправедливо. Но в те времена считалось: "чем больше наказывать, тем лучше". А дети, засыпавшие в слезах, постепенно совсем отбились от рук.

И у Хельге Хауге с Гюлле отношения тоже испортились. Они не понимали, отчего не ладят, что им мешает жить дружно, в конце концов они стали просто поедом есть друг друга, и это едва не свело Гюлле в могилу, так как у нее не хватало здоровья на перебранки, да и не горазда она была придумывать, как бы побольнее уязвить Хельге Хауге.

Несколько лет они жили в сплошном кошмаре, пока психический шок и постоянная травля окончательно не сломили Гюлле.

Опять-таки Хельге Хауге лишь потом разобрался, в чем был не прав. Разобрался он и в том, что винить нужно было не его злой умысел, а жизнь, которую он не мог понять. Он ожесточился, возненавидел городишко и мечтал о том, чтобы уехать оттуда или снова податься в море. Ему хотелось сбежать.

С Гюлле все обернулось иначе. В один прекрасный день, воспользовавшись ее жалким состоянием, Гюлле обратил в свою веру проповедник из пятидесятников. Став на путь истинный, обретя бога, она уже через неделю вернулась к действительности, подавленная, но с новыми силами и верой в

огромное значение страдания для спасения души, и была навсегда утрачена для Хельге Хауге. С тех пор каждый из них жил своей жизнью. Они отдалились друг от друга. Они точно сложили оружие, покорились судьбе, и в их отношениях можно было усмотреть если не отчуждение, то какую-то робость. Они стеснялись жить как муж и жена, больше не прикасались друг к другу и поддерживали в доме мир. Для Хельге Хауге Гюлле стала святой, великомученицей. Из своего отдаления он наблюдал за ней, видел, что постепенно к Гюлле возвращаются силы и энергия, и радовался этому.

Вот так, разделенные целым миром, они затем снова прикипели друг к другу. Между ними возникла некая платоническая привязанность. Они обрели мудрость. Они многому научились, хотя наука эта далась им нелегко. Но теперь великие страдания были позади. Понять — значит простить, и они могли теперь посмотреть друг другу в глаза. Возможно, сквозь слезы, но, во всяком случае, с уважением и любовью, которых раньше их сердца не знали.

Однако это произошло уже через много лет после того, как они уехали из Стокке. Когда они почувствовали, что годы берут свое, и когда жизнь в первый раз намекнула им о приближении конца.

Нет, на металлургическом заводе Хельге Хауге тоже долго не выдержал. Он уволился, как неоднократно делал прежде, и начал свои долгие скитания от одной подрядной судостроительной фирмы к другой. Покинув дом, он жил в грязных бараках и захудалых гостиницах там, где находилась работа на верфи. Его гнали с места на место неумность, бродяжничество в крови. Поначалу

он считал, что вырвался на свободу, поскольку на него не так давили его обязательства, все, что олицетворяло его жизненный крах. Но со временем ему стало ясно: мечты о свободе сродни воздушным замкам. Свободы вообще не существует, по крайней мере для отдельного человека. Это лишь иллюзия, стимул, уловка, с помощью которой людей вынуждают трудиться до седьмого пота ради обогащения других. Конечно, известную свободу дают деньги, однако можно ли за деньги купить потерянные годы, утраченную любовь и несбывшиеся мечты? По прошествии лет Хельге Хауге открыл для себя, что единственная доступная человеку свобода — это черпать радость и вдохновение из борьбы за идею, за преобразование общества под знаменем этой идеи. Интуиция и пережитые страдания привели его к социализму.

Он работал не покладая рук, сражался за правое дело. Он знал, что оно правое, хотя ничего хорошего из этого все равно не вышло. Раньше на него оказывали давление могущественные и непостижимые силы, целая эпоха, которая своими преследованиями согнала его семью с насиженного места, лишила их дома, прежде чем он, Хельге Хауге, сумел разобраться в окружающем мире и научился стоять за себя. Раньше во главе угла у него была работа. Теперь он смотрел глубже, он видел насквозь всех работодателей, знал их мотивы и доводы и мог плевать на них. Более того: он видел, как теперь, под конец спектакля, они ловят ртом воздух, точно рыба, вынутая из воды. Потому что они упустили свое время!

Хельге Хауге преуспевал. Он был восходящей звездой. Однако ночь не может заменить день. Слишком дорого заплатил он за теперешнее бла-

гополучие. Он утратил способность радоваться жизни. Радость жизни осталась на сотнях его работ, была разбросана по морям и океанам, по городам и весям. Система выжала из него все. Ненасытность капитализма отняла у Хельге Хауге радость.

Вот почему Хельге Хауге возмущала обывательская философия, исходящая из того, что солнце светит для всех и что завтра будет лучше. Утешение для слабых. Как оно всегда и было. Хельге Хауге считал эту философию банальной и рабской. Он сочувствовал решительно настроенным политическим группировкам, хотя и не отваживался высказывать свои симпатии вслух.

Хельге Хауге не мог простить миру его обмана и лжи, его вероломства, его предательства. Все, во что он верил, во что его приучили верить, оказалось при ближайшем рассмотрении ложью, заблуждением, бесполезной чепухой. И это испортило ему жизнь. Потому что у него в голове не укладывалось, что мир может быть таким злым и жестоким, таким деспотичным и кровожадным. Из-за этого жизнь представлялась ему в виде бесконечного блуждания по сырому, промозглому тоннелю внутри древней горы, где пахнет плесенью и гнилью, но зато сверкают никогда не стареющие, вечно новые драгоценные камни и минералы. Он видел себя в шахте. Однако не понимал, спускается он или поднимается. Он шел и шел в нескончаемой холодной тьме. До поверхности было по-прежнему далеко.

А жизнь, настоящая жизнь, та жизнь, к которой он мечтал вывести людей, — это был лишь мираж, галлюцинация, фата-моргана, которая кричала ему: "Вот я!", "Вот я!", "Да нет же, вот!", "Вот я

где!” И каждый раз ускользала от него. Каждый раз оставляла его с носом.

И в конце концов он утратил надежду, в конце концов он свыкся с окружавшими его гниением и тьмой. Но и тогда жизнь, черт бы ее побрал, не стала легче. Сколько бессонных ночей он провел, опасаясь, что, того гляди, спятит! Даже вспомнить страшно.

Но больше всего его угнетала потеря жены и детей. Видели ли они в нем живого человека? Они отделились от него, а он от них. У него никогда не было случая познакомиться с ними. Показать им в истинном свете. Незримые силы оторвали их друг от друга, и Хельге Хауге исходил кровавыми слезами. Лишив семьи, у него вырвали и бросили в сточную канаву сердце.

Хельге Хауге возвращался во прах.

Мир тоже был повергнут в прах.

Он стоял нагой, побежденный, униженный, подвергаемый насмешкам.

Реликт одного из самых страшных периодов истории.

Се человек! — как сказал Пилат.

7

Станет ли мир когда-нибудь прежним?

Вопрос интересный, поскольку ответ на него заключается не только в будущем, но и в прошлом.

Однако большинство людей приспособляются и к этой действительности. Кто-то уходит в книги, а кто-то отправляется в Индию на поиски камня мудрости. Большая часть того, что известно под названием новой культуры, новой личности, нового гуманизма, не говоря уже о новом образе жизни,

оказывается скорее бегством в волны моды и конъюнктуры, нежели сколько-нибудь серьезной и реальной попыткой изменить мир.

В этом новом широком движении за возрождение гуманизма участвует и много людей состоятельных, с большими доходами.

Все мы чувствуем, что корабль, на палубе которого мы находимся, может в любую минуту загреметь на дно. Мы словно плывем с конрадовским Джимом на борту "Патны". Офицеры тайком сошли на берег, а путешественники, пассажиры спят сном праведников, полагая себя в руках господа, а не всезнающих безбожников, которые бросают их на произвол судьбы. Образованные и невежественные. Элита и массы. Одни высоко ценят свою жизнь, поскольку им есть что терять, а другим даже не по чему мерить собственную жалкую жизнь.

И это считается в порядке вещей.

Ведь если общество целиком и полностью построено на том, что на нашем демократичном языке называется правом частной собственности, недовольство, конечно же, скорее выражают те из нас, кому больше терять, чем те, кому терять мало или просто нечего. Например:

Солдат потому и идет в солдаты, что не сознает своей ценности. Если бы он сознавал ее, он бы, по примеру военных стратегов, положился на собственную рассудительность и мгновенно увидел бы, насколько это смешно — добровольно предлагать себя в качестве пушечного мяса.

Но он не видит этого, и потому, как говорит Брехт, пока одни загорают на цветастых полотенцах, те, чьими усилиями движется корабль, вынуждены, подобно героям "Машины времени" Уэллса, пребывать в темноте, в подземелье, вдали от мира,

солнечного света и других людей, красивых и безгрешных (ой ли?).

На этом, собственно, и кончается история про Хельге Хауге.

Если бы только раздел "Смерть и похороны" тоже не играл в ней своей важной роли!

Хельге Хауге нужно было попасть на судно, и он, чтобы по возможности сократить путь, вошел с носа.

Вход здесь был временный. Оба первых танка не выдержали испытаний под давлением, и теперь каждый шов нужно было разрезать, а затем заново сварить. Большая неприятность в то время, когда каждый день означает выигрыш или потерю сотен тысяч крон. Сдача задерживалась более чем на три недели, и для облегчения дела решили вырезать отверстие прямо в корпусе, чтобы как можно быстрее вносить и выносить инструменты и материалы. По небольшим сходням можно было через эту дыру размером пять на три метра попасть внутрь танкера.

После дневного света Хельге Хауге очутился в полной темноте, однако он знал корабль как свои пять пальцев и даже не стал зажигать фонарик. Он знал, где нужно пригнуться, и уверенно шагал между днищевыми стрингерами.

На его пути то и дело возникали серые тени рабочих. Это были в основном резчики и сварщики, но попадались также монтажники лесов и уборщики. Все они в самых невероятных позах склонились над своей работой. В ближайшем к носу бортовом танке всегда тесно, и в холодном белом свете фонарей, висевших у них над головами, ребята напоминали Хельге Хауге участников живых картин.

Иногда он чувствовал сухой, резкий запах газа от дуговой сварки и, проходя мимо одного из сварщиков, подумал о раке. Согласно последним данным, существует прямая взаимосвязь между газовой сваркой и раком легких, и он глубоко вздохнул, видя, как они без масок облучаются сине-фиолетовым светом.

Работы велись практически на всех лесах, снизу доверху, и, когда Хельге Хауге время от времени, протиснувшись в очередной лаз, поднимал взгляд, чтобы убедиться, что путь свободен, на него иногда падали раскаленные капли металла. Это сварщики и резчики сваривали дюймовые стальные листы, или отрезали угольник, чтобы провести на этом месте трубу, или с позором были вынуждены расшивать сварной шов, так как рентгеноскопический контроль обнаружил на стыке между корпусом и шпангоутами пузырьки газа. Фейерверк, который так красиво смотрится ночью на улице, когда с борта судна срезают скобы подвесных лесов. Во все стороны летят железные опилки, и огромные капли расплавленного металла с шипением ударяются о нижние леса. Но когда находишься внутри танка, это не очень-то приятно. Звздопад горячего металла из непроглядной тьмы наверху напомнил Хельге Хауге о кузнеце, которому такой кусок раскаленного металла прожег ступню. Посему он предпочитал не рисковать. Он ждал, пока метеоритный дождь кончится. В этой красивой работе всегда бывают небольшие паузы.

Поджидая очередную паузу, он думал: "В таких вот условиях и прошла моя жизнь. Всегда заперти, в шуме, с дымом, газом и пылью. Кто не работал на верфи, и не представляет себе, что это за подарочек".

Он отыскал трап и тут же превратился в обезьяну, вернее, в человека, отлично приспособленного к передвижению по трапам. Его тело, его мышцы были натренированы на то, чтобы лазить по железным трапам. Сколько километров он в общей сложности проделал по ним? Если кто-нибудь из живущих на нашей благословенной планете и взобрался на небо, к богу, то это был Хельге Хауге. Он еще и спустился оттуда!

И ему вспомнилась Чокнутая Хильда, которая когда-то разносила у них газеты. Зимой и летом одетая в старую, заношенную рубашку с коротким рукавом, она работала за сорок крон в месяц, пока однажды утром ее не нашли на улице замерзшей. По ней можно было проверять часы, и это всем нравилось, а когда кто-то подсчитал, что с этими треклятыми правыми газетами она прошла расстояние, равное трем экваторам, про нее написали в газете и поместили фотографию, где она стояла рядом с подаренными газетой новенькими финскими санями и непонимающим взглядом, точно корова на выставке скота, смотрела в объектив.

Хельге Хауге выбрался из люка на палубу, на яркое дневное солнце.

У маляров дела шли прекрасно.

Насосы качали краску на полную мощность, как и говорил Бенъямин, и Хельге Хауге видел, что двое работавших внизу маляров совсем загнали "мешальщика" Паулсена. Во рту у него торчала свернутая сигарета, но прикурить никак не выдавалось возможности. Во всяком случае, пока он не приготовил новой порции краски в нагнетательном баке, чтобы все закрутилось дальше. Он открыл крышку, залил разбавитель и начал ме-

шать так, что брызги летели, а увидев Хельге Хауге, только покачал головой.

Хельге Хауге воспринял это в своей обычной манере.

— Работа, я вижу, кипит! — прокричал он.

— Да уж не говори! — прокричал в ответ Паулсен. — Эти двое вкалывают за четверых. Мне по такому темпу двойная оплата положена. Совсем с ума посходили ребята. В обед, когда вылезли, стонут, что насадки, тридцать шестые, им, видишь ли, малы, а краска слишком густая. "Не жалей разбавителя, Паулсен! Не жалей разбавителя! Краска совсем не идет!" Еще чего выдумали! — говорю. Вы же, черт вас возьми, даже не успеваете намазаться ланолином. А сами, когда полезли вниз после завтрака, забыли включить дополнительный подогрев. Чего ж тут удивительного, если краска не идет? Нет, вы уж, пожалуйста, не заявляйтесь ко мне со своими претензиями, если у самих рыльце в пушку, ребята, сказал я. Разве я не прав, Хауге?

— Конечно, прав, — со свойственной ему невозмутимостью отвечал Хельге Хауге. — Я только что разговаривал с Беньямином. Он утром спускался в танк и говорит, что там не слишком все аккуратно. Ребята, пожалуй, чересчур увлеклись. Ты уж попридержи их, Паулсен! Кстати, у меня еще одно дело, Паулсен. Останешься сегодня поработать сверхурочно? Мне нужно знать сейчас, пока я не сошел на берег.

— Да я-то всегда пожалуйста, Хауге. Только пора кончать с этой сверхурочной работой. Жена испилила, говорит, не видит меня совсем. И не могу я ей втолковать, что нам нужны деньги. "Мне нужен ты!" — говорит она, и я, черт подери, боюсь

рисковать, оставляя ее надолго одну, когда в этом городе полно охотников до чужих жен!

Засмеявшись в ответ, Хельге Хауге помахал ему и ушел.

Паулсен был худой как щепка парень с длинным узким лицом и удивительно ясными голубыми глазами, которые смотрели то с хитринкой, а то просто весело. После тюрьмы он надумал жениться, но супружеская жизнь, по-видимому, складывалась не очень удачно; к тому же у него один за другим, с минимальным разрывом, появилось трое детей. Паулсен прекрасно понимал, голова-то на плечах есть, что они не могут и дальше производить на свет детей в таком количестве. Хельге Хауге невольно улыбнулся, вспомнив, как Паулсен рассказывал:

— У меня с Хельгой всего-то и общего, что постель, ну и еще детишки, а баба она, надо сказать, ничего себе, ты ж понимаешь, Хауге. Вот я и решил: послушаюсь-ка я этих гавриков из отдела семейного планирования; пошел я в больницу и говорю: давайте стерилизуйте. "А ты не боишься остаться импотентом?" — спросил меня один парень. "Можешь за меня не волноваться!" — отвечал я, и, честно говоря, я никакой разницы не замечаю, Хауге. Скорее даже наоборот. Вот только проклятая работа по ночам меня от жены отрывает. Обидно, ведь нам теперь ничего не страшно, можно наплевать на таблетки и все прочее! Неудивительно, если она недовольна, а, Хауге?

Да, у этого Паулсена не было от мира никаких секретов. Ровным счетом никаких!

Хельге Хауге прошел по левому борту в район четвертых танков, где стоял подготовленный к работе окрасочный агрегат. Ребята были внизу, в

танке, шпаклевали и, как сказал ему Нилсен, к вечеру собирались кончить, а если не успеют доделать, то задержатся. И тогда с утра можно будет развернуться.

Решив проверить, все ли в порядке, он вошел в тесную малярную. Почти всегда оказывалось, что не хватает какой-нибудь важной запчасти, или что шланг плохо присоединен к краскопульту, или что мало лампочек, уплотнителей или бог знает чего еще.

Краски было хоть залейся. Пятьдесят двадцатилитровых бидонов стояло в полной боевой готовности на палубе, а еще двадцать восемь выстроилось вдоль стены в малярной. Растворителя тоже хватало, и нагнетательный бак был очищен от старой краски. Правда, сурику маловато, весь выйдет до обеда, поэтому Хельге Хауге отметил себе: сурик для четвертого по левому к десяти часам. Плюс пять десятилитровых бидонов растворителя. И будет с них!

Керосин для подогрева был налит, ток подведен. Он нажал кнопку пуска: заработал компрессор, насосы погнали первые капли керосина в желобки вокруг фитиля. Фитиль вспыхнул, и Хельге Хауге обдало облаком горячего дымного воздуха. Через несколько минут бригадир отключил систему.

— Прекрасно. Здесь все нормально. Значит, утром приступим без опоздания.

Осенью работа осложнялась холодными ночами, за которые краска густела. Густела настолько, что приходилось подогревать ее почти до сорока градусов и бухать массу растворителя, а кроме того, включать дополнительный подогрев, чтобы прогнать тягучую, как деготь, краску на расстоя-

ние в пятьдесят-шестьдесят метров, отделявшее насосы от танков. Если краска слишком загустевала, засорялись шланги, и тогда маляры выбирались из танка наверх и промывали растворителем шланги и привередливые краскопульты. А из-за этого мог пропасть целый рабочий день. Вот почему от того, кто стоит у красконагнетательного бака, требовалась особая аккуратность: попавший в шланг крохотный кусочек ржавчины с крышки мгновенно засорял насадку. И Паулсен прекрасно справлялся со своей работой, хотя брюзжал больше других.

Стоять у окрасочного агрегата в пятидесятиградусной жаре и ворочать тяжелые бидоны с краской — работенка, прямо скажем, незавидная!

Хельге Хауге проверил давление в краскопультах. Нормальное. Чуть больше семи килограммов на квадратный сантиметр, чуть выше идеального. Но это потому, что рабочий день подходит к концу. Большинство операций уже завершено. Теперь все сворачивали дела, приводили в порядок оборудование. Так что сжатым воздухом пользовались меньше, и давление чуть повысилось. На всякий случай Хельге Хауге промыл растворителем краскопульты, чтобы они были абсолютно чистыми, когда ребята с утра пораньше возьмутся за работу.

На полках над краскопультами лежали новые резиновые перчатки, лампочки, ветошь, две баночки ланолина, сменные насадки, уплотнительные кольца и изоляция. А в углу висели два выстиранных комбинезона.

Все было как положено. В порядке и на месте.

Только несколько метров шланга, подводящего воздух к маскам, в беспорядке валялось на палубе около бидонов с краской, и Хельге Хауге

принялся сматывать шланг, чтобы повесить его на крюки на задней стенке малярной.

И тут он почувствовал запах гари.

Пахло горелой пластмассой, очень сильно, и, обернувшись, он увидел клубы черного дыма, валившего из отверстия в обшивке газоведа. Там, внутри танкера, было хитросплетение трапов и лестниц, небольших платформ и огромных палуб. Там работали сотни людей, в основном изолирующих, которые обкладывали алюминиевые цистерны двадцатипятиметровым слоем прессованного полистирола, чтобы затем покрыть его тонкими стальными листами. Неужели загорелся полистирол?

Хельге Хауге схватил в малярной огнетушитель и бросился в черный проем, где сразу понял, что дым идет из самой глубины. Пламени видно не было, но дыма все прибавлялось, и огромное помещение, в котором он находился, уже было целиком заполнено им.

”Противогаз! — сообразил Хельге Хауге. — В малярной есть противогаз!”

Дым был густой, с едкой пластиковой копотью, невыносимо дравшей горло. Хельге Хауге выскочил наверх, схватил противогаз и, снова окунувшись в море дыма, ощутил приступ безумной радости, дикой, безрассудной радости, радости действия. Казалось, всю свою жизнь он только и ждал этого мгновения, и, когда он снова очутился на палубе, кончавшейся надстройкой, уже надев противогаз, дыша свежим воздухом, какой-то внутренний голос воскликнул: ”Лови момент, Хельге Хауге! Лови момент! Вот он, твой шанс!”

Кто это говорил? Мужчина, притаившийся в нем герой, который торопился исполнить свой

долг? Или это был голос добра, которое на протяжении его довольно унылой жизни раз за разом толкало этого мягкого, миролюбивого человека на помощь другим? Или это его призывала смерть? Смерть, которую он уже много лет носил в левом внутреннем кармане в виде маленькой ампулы с синильной кислотой — он запасся ею, чтобы обеспечить себе отступление на случай, если голова откажет раньше сердца.

Но сейчас Хельге Хауге кипел возбуждением, нервы его напряглись. Сейчас было не время думать об этих глупостях. Правильно?

Он соскочил в темноту, почувствовал, как тело его делается невесомым, и вцепился в поручни, чтобы притормозить. Он стоял на лесах, пытаясь сориентироваться.

Все его способности были сосредоточены на одном: через этот чад, через это пекло пробраться на самый низ. К Хельге Хауге пришла былая смелость, он подтянулся и стоял наготове, точно исполненный веры калека, который в надежде на чудо отбрасывает костыли — и идет! Не надеялся ли и Хельге Хауге на чудо? Не хотел ли он, много раз возвращавшийся живым из чистилища, вновь испытать себя?

Презревший смерть шут и алкоголик! Вперед!

Он помедлил секунду. Зачем он, собственно, здесь? Может, повернуть назад? Вокруг были жара и темень, дышать делалось все труднее. Скоро здесь не останется и капли воздуха, тогда ему не помогут ни воля, ни мужество, ни противогаз.

Но тут неподалеку послышался стон, и идти на попятный было поздно. Он двинулся вдоль лесов и обнаружил двух забившихся в угол рабочих, которые, обезумев от страха, почти потеряли сознание.

— Резаки есть? — коротко спросил он.

— Да! — пролепетал один из них, и Хельге Хауге сообразил, что парень принимает его за сумасшедшего, который хочет прорезать дыру в обшивке. На это ушло бы минут десять, а к тому времени...

— Включите кислород, пока не оочурились! По очереди берите резак в рот и лезьте на палубу! Здесь рукой подать! — яростно прокричал Хельге Хауге, удивляясь самому себе. Но мысль его сразу же заработала дальше, и он понял, что этим внезапным озарением спас жизнь двоим.

— Резчики! — закричал он. — Все, у кого есть резаки! Включите кислород, дышите им и попробуйте подняться по трапу или ждите спасателей! И без паники: это только дым, температура не повышается!

Собственный голос показался Хельге Хауге громоподобным. Он заполнил собой эту гигантскую коробку из железа, стали и алюминия. Он одолел густой дым.

— У нас нет резаков! Помогите! — глухо, безысходно позвали снизу.

— Где вы? Подайте голос! — крикнул Хельге Хауге.

— Здесь, на третьем ярусе! — слышалось в ответ.

— Иду!

И Хельге Хауге, вновь ощутив невесомость, спрыгнул по трапу еще ниже. Он отбросил костыли. Отрезал себе путь назад. Теперь можно было надеяться лишь на чудо. Его тело повисло, как грузило на сети.

Он отметил на ходу, что потерял шлем, что лицо его покрыто толстым слоем сажи и что он со-

всем задыхается. Еще минута, другая — и воздуха больше не будет!

А вот и эти двое. Один, без сознания, лежал полумертвый на дощатом настиле. Второй через дырочку в переборке понемножку втягивал воздух из соседнего бортового танка.

— Надевай и выбирайся на палубу! — прокричал Хельге Хауге, снимая свой противогаз.

И человек, которого Хельге Хауге едва различал в темноте, мгновенно исчез. Только сверкнул белками глаз. И все. Но взгляд был отсутствующий, безумный. Он выражал страх, безумный страх, ужас, от которого люди, сами того не замечая, могут обмочиться. Хельге Хауге уже не раз наблюдал такое. Испуганные глаза всегда широко раскрыты. И за этими белыми раскрытыми глазами скрывается оцепенение, невысказанность того, что оказался перед лицом превосходящего силой противника, перед лицом смерти. Это сознание парализует большинство людей, и они стоят, точно пригвожденные к месту. И смотрят широко раскрытыми глазами.

А глаза разъяренные, глаза агрессивные и ненавидящие — они всегда прищурены. Потому что видят лишь одно: замышляемое убийство!

Сделав пару глотков воздуха через дырочку, которую отыскал тот человек, Хельге Хауге задержал дыхание. Затем склонился над поникшим в беспомощности. Это был молодой парнишка, худой и тощий, совсем еще мальчик, ученик, который стоял на пороге жизни, но которому не суждено будет в нее войти, если его не спасут.

Хельге Хауге примерился и без особого труда взвалил парнишку на спину, распределив тяжесть на оба плеча, потом ощупью добрался до трапа.

Они продвинулись наверх, но силы Хельге Хауге были на исходе. Он знал, что до палубы слишком далеко, знал, что не выдержит этого мощного и длительного рывка и в отличие от того случая в детстве вынужден будет открыть рот, чтобы хлебнуть воздуха. Но воздуха больше не было. Для такой ситуации, для существования в этом новом измерении его организм не был приспособлен.

Вот почему он пока не раскрывал рта.

Но и без воздуха он больше не мог. И против его воли рот все же раскрылся и отрывисто, судорожно выгустил давивший изнутри воздух. Однако на следующем ярусе пустота внутри потребовала заполнения, и он, хотел он того или нет, вынужден был сделать вдох.

В глазах у него потемнело, уши заложило, и он почувствовал, что кричит отчаянным неммым криком, потому что кричать вслух он не мог: он задышался и словно отгородился от внешнего мира. Однако его внутренние ощущения были вполне отчетливы. Он чувствовал, как голова его раздувается, точно воздушный шарик, как дым и едкая копоть прожигают его легкие, забираясь во все уголки.

Его песенка была спета. Горло мертвой хваткой сжимал чудовищный зверь, который не хотел упустить добычу. В последний раз попытаюсь собраться, Хельге Хауге посмотрел на себя со стороны и увидел, как карабкается по трапу с молоденьким парнишкой на спине. Это прибавило ему сил, а когда его вырвало, стало чуть меньше давить изнутри, и он решил, что все-таки справится, на этот раз тоже сумеет выйти сухим из воды.

Однако запала хватило ненадолго. Хельге Хауге

ге рухнул под своей ношей. Но он упал не назад, на дно танка, а свалился ничком уже на верхней палубе, откуда до выхода оставалось каких-нибудь пять-шесть метров. Там они и лежали вдвоем, пока на них не наткнулись первые спасатели.

Все это заняло минуты три-четыре. Бесконечно много, если события развиваются со скоростью света, а жизнь укладывается в одну шестидесятую долю секунды, за которую вспышка блица успевает схватить до мельчайших подробностей все, что попало в поле зрения фотоглаза, прежде чем картину вновь поглотит безжалостная тьма.

Газовоз был теперь окутан густой дымовой завесой. Обычный прием в военное время и катастрофа в мирное.

Когда начался пожар, большинство работавших на судне успели выбраться и стояли теперь вдоль причала огромной, содрогающейся от ужаса толпой, ожидая, что же будет дальше. Взрыв? Или неистовый огонь распространится в направлении кормы и захватит надстройку и машинное отделение?

— Не дай бог, загорятся машины! — слышался чей-то громкий голос.

— Да кто ж ты после этого, если не об ребятах думаешь, а об машинах? — возмущился другой.

— Ты что, спятил? Я не про то! Если машины захватит, и ребятам крышка! Как жажнет, так судно и разломится! А что тогда будет с ребятами, которые на юте?

И как всегда в таких случаях, отдельные смельчаки начали высказывать недовольство. Какого черта они строят эти проклятые газовозы! Дерьма с ними не оберешься! И пожаров на них сколько уже было! Что это — первый раз, что ли?

А в конечном счете кому приходится расхлебывать кашу?.. И т. д. и т. п. Они-то спокойненько стояли себе на берегу.

И вот появились первые спасатели: человек тридцать-сорок своих же рабочих, добровольцев, получавших за это небольшую прибавку к жалованью и пользовавшихся кое-какими льготами в виде отгулов и прочего. Они уже успели экипироваться и теперь, рассыпавшись от носа до кормы, перелезали на судно. Пришли в движение краны, и взрывоопасное оборудование с отработанной четкостью и быстротой отправлялось на берег. Значит, не пропали даром многочисленные тренировки! Толпы зрителей видели, как спасатели, точно трудолюбивые пчелы, вереницей тянулись к окутанному дымом входу, сновали взад-вперед, вверх-вниз, и, наверное, кое-кто из зрителей пожалел, что не он хлопчет там, на танкере, ради спасения жизни товарищей и денег капиталистов.

Однако никто пока не имел ясного представления о том, что происходит внутри гигантского судна. Пожар разгорался, и густой смертоносный дым все валил и валил изнутри, наводняя собой округу.

Толпа охнула, увидев, как сворачивается и отшелушивается с бортов краска. Это означало, что температура поднялась очень высоко и что шансы выбраться живыми для оставшихся на газовозе свелись практически к нулю.

И никто еще точно не знал, сколько человек осталось внутри. Каждый бригадир пытался выяснить это с помощью переклички и подсчетов, но дело было безнадежное, поскольку люди толпились там, где они выбрались с судна, и никто не принимал всерьез эти попытки подойти к ситуа-

ции здраво и разумно, навести порядок. Люди смотрели во все глаза и замечали течение времени по тучам дыма над головой, которые поднялись уже на много сотен метров и, подровнявшись наверху, потянулись в сторону города, неся с собой возможность новых пожаров.

Но теперь всю развернулись спасатели, и первыми с борта газоведа были переправлены ученик сварщика Роналд Бюэ и бригадир маляров Хельге Хауге.

— Наконец-то! — закричал народ, указывая вверх, на плывущую по воздуху корзину.

— Пропустите "скорую помощь"! Пропустите "скорую помощь"! — закричал голос. — Отойдите! Дайте подъехать санитарным машинам!

По толпе пронесся стон при виде двух безжизненных, почерневших тел, которые санитары, положив на носилки, торопливо понесли к машинам. Оба были настолько обожжены, что, хотя врачи сразу стали делать искусственное дыхание и повезли их в больницу, никто в толпе не мог поверить в возможность возвращения к жизни этих обугленных тел. Их даже узнать было нельзя. И, проводив санитарные машины, которые с воем понеслись по причалу, рабочие только грустно и задумчиво качали головами в шлемах.

По дороге в больницу врачам удалось несколько раз привести Хельге Хауге в сознание. Но он бормотал что-то бессвязное, как это бывает с пьяными и умирающими.

— Пахнет зеленым мылом и стиранным бельем! — слабым, чуть слышным голосом сказал он. — Наверное, это прачечная... — Голос сорвался, и Хельге Хауге ушел в себя. На лице его были написаны суровость и озабоченность. Он знал, чувствовал

это. Лицо его было маской, и он знал, прекрасно знал каждое изменение в изборожденном морщинами возраста, пожаров и страданий пейзаже — своем лице. Сейчас оно было испуганным, сведенным судорогой — такие лица он видел у умирающих. Лицо человека в предсмертных конвульсиях, лицо смерти.

Но Хельге Хауге увидел и помрачневшее лицо врача и, чтобы помочь ему, заикаясь, как ребенок, спросил:

— Скажите, правда ли, что средства производства принадлежат нам, рабочим?

И врач, который понятия не имел ни что такое средства производства, ни что такое прибавочная стоимость, по доброте душевной ответил:

— Конечно! Как же иначе! Конечно, средства производства принадлежат рабочим!

— Ха-ха-ха!.. — засмеялся, услышав это, Хельге Хауге и снова замкнулся в себе. Прежде чем в глазах его опять потемнело, он заметил озабоченное выражение на лице врача, увидел, что тот потянулся за кислородной маской и прижал ее к приоткрытому рту Хельге Хауге. До чего же здорово выйти на свежий воздух, думал Хельге Хауге, стоять, как сосна, на берегу моря, и пускай тебя треплет и тормозит ветер. Он ощутил блаженную невесомость и, взмыв вверх, унесся из этого мира в другой мир, в другую эпоху. Было неясно, попал ли он в прошлое или в будущее, но ландшафт вокруг производил впечатление искусственности, а люди казались сделанными из резины или еще какого-то неживого материала. По крайней мере их лица, их глаза были неживыми.

Он видел людей, занятых работой, и ему почудилось в них что-то знакомое. А когда он обратил-

ся к человеку, резавшему ягненка, и тот не ответил, продолжая невозмутимо делать свое дело, Хельге Хауге понял, что попал обратно в свой мир, мир людей. Просто его чувства раскрылись теперь во всей полноте, и он мог передвигаться и в прошлом, и в настоящем, и в ожидающем нас лишенном иллюзий будущем. Все эти эпохи были объединены здесь в одну действительность, в одно ощущение, и н выходов стояли вооруженные охранники, чтобы никого не выпускать из этого "видения ада".

Но Хельге Хауге не собирался оставаться тут. Он шел напролом, прямо на охранников, видел огонь, ударивший из их винтовок, видел, как пули пробивают его тело, и, подойдя ближе, увидел, что охранники смотрят сквозь него, в пустоту за его спиной. Они были то ли мертвые, то ли без сознания, и он решил пробудить их к жизни. Но так же, как и тот человек с ягненком, они не отозвались на окрик, и он, разозлившись, что его не замечают, ударил одного из охранников по щеке. К его изумлению, страж мгновенно исчез, точно лопнул.

Ах, вот в чем дело! Теперь все стало на свои места. И Хельге Хауге по очереди расправился с охранниками и, когда лопнул последний и перед ним открылся путь к свободе, покинул "видение ада", чувствуя себя в полной безопасности, даже не оглянувшись назад.

Хельге Хауге шел и шел, пока не превратился в крохотную точку далеко-далеко у горизонта. Там он слился с восходящим солнцем и исчез в новом, неведомом нам мире.

Эпилог

Нет никакого смысла описывать пожар во всех его страшных подробностях. Пожары мало чем отличаются один от другого независимо от того, происходят они на суше или на море, и надо сказать, на крупных предприятиях к ним даже притерпелись. Они лишь играют роль "моральных стимулов", которые заставляют отдел охраны труда и других людей, отвечающих за жизнь и безопасность рабочих, садиться на своего конька и громкогласно напоминать о мероприятиях, осуществление которых они считают необходимым. Дальше этого дело обычно не идет: заедает текучка, да и медицинская наука немало тому способствует, поскольку научилась быстро и надежно заживлять все раны. Увы, это так!

Возможно, было бы лучше, если бы весть о смерти Хельге Хауге принес священник, но на промышленных предприятиях они не очень-то в чести, поэтому вдове Амалии (Гюлле) Хауге, урожденной Халворсен, позвонил по телефону сам директор Клеппе.

— Да, я видела дым, и сейчас, когда раздался звонок, так и подумала: что-то стряслось... — ответила Гюлле, и трубка выскользнула из ее руки...

Крематорий на похоронах Хельге Хауге был переполнен, и все стояли навытяжку, пока директор Клеппе произносил свою краткую и, по всеобщему мнению, очень правильную речь.

— Хельге Хауге погиб на своем посту. Он был из тех людей, которые каждый день идут на работу с удовольствием и стараются выполнять ее как можно лучше. Не будет преувеличением, если я

скажу, что в нем воплотились самые замечательные черты рабочего человека, в том числе дух товарищества. Мы должны гордиться тем, что знали Хельге Хауге, потому что его жизнь уже сегодня стала легендой! — закончил директор Клеппе своим велеречивым голосом и порвал бумажку, на которой мелким почерком был написан текст его импровизированного выступления.

Да, Хельге Хауге провожали из этого мира с цветами и всяческими почестями. Он лежал в своем белом, отделанном золотом гробу, точно отдыхая на поляне среди цветов, — в черном выходном костюме, красных носках и начищенных ботинках. Солдат Торденшёльда¹. Как писала местная газета: "На таких людях, как Хельге Хауге, держится наша страна!"

Ну что еще сказать?

Да, когда гроб Хельге Хауге опускали на кремацию, все в часовне настолько прониклись чувством уважения и почтительности, что несколько его старых товарищей решились запеть "Интернационал". Однако подпевать им было некому. Никто из присутствующих не помнил слов.

Слова помнили лишь эти трое, и они довели песню до конца. Затем они склонили свои непокрытые головы и стояли, не подымая глаз, пока органист не нарушил тягостного молчания мелодией псалма "Из земли пробилась роза".

¹ Петер Торденшёльд (1691—1720) — датско-норвежский флотоводец, вице-адмирал, участник Северной войны (1700—1721). Национальный герой Норвегии.

Трульс Эра
РОМАН О ХЕЛЬГЕ ХАУГЕ
ИБ № 1480

Truls Øra
ROMANEN OM HELGE HAUGE
OSLO, 1979

Редактор *С. Белокриницкая*
Художник *А. Платонов*
Художественный редактор *С. Барабаш*
Технический редактор *В. Гунина*
Корректор *Е. Рудницкая*

Сдано в набор 31.08.84. Подписано в печать 23.01.85. Формат 70x100/32. Бумага офсетная. Гарнитура "Столетие". Печать офсет. Условн. печ. л. 11,61. Усл. кр.-отт. 23,54. Уч.-изд. л. 11,38. Тираж 50000 экз. Заказ № 905. Цена 1 р. 20 к. Изд. № 1313.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.

Вышли из печати:

- К. Кодзяс.* Забой номер семь (Греция)
М. фон дер Грюн. Два письма Поспишилу (ФРГ)
Б. Коллинз. В медном котле (Австралия)
А. Лопес Салинас. Из года в год (Испания)
Л. Мулин. Взрыв (Швеция)
Р. Уильямс. Второе поколение (Англия)
Н. Дзордзенон. Желтый комбинезон (Италия)
Х. Юлитало. Окаанный финн (Финляндия)
Р. Крайтон. Камероны (США)
К. Накадзато. Шахта в море (Япония)
Ларс Лоренс. Старый шут закон (США)
Л. Ури. Пролетарии (Франция)
Э. Манов. Сын директора (Болгария)
Б. Глуховский. Кровавая сталь (ФРГ)
Ю. Нелсон. Брасеро (США)
В. Карлсон. Квадрат (Дания)
А. Кюн. Пора подниматься (ФРГ)
В. Попов. Низина (Болгария)
О. Дюфур. Мари-Крестная (Франция)
М. фон дер Грюн. Жар под золой (ФРГ)
Р. Флос. Уроки танцев (ГДР)
Т. Ди Чаула. Голубая спецовка (Италия)